

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин

У окна.

Я стоял у окна вагона, бесцельно глядя на бегущий мимо пейзаж, на полустанки и маленькие станции, дощатые домики с названиями черным по белому, которые не всегда успевал прочитывать, да и зачем. Поля, перелески, столбы, волны проводов, стога сена, кусты, проселки – и так час за часом. Рядом, у следующего окна, стоял мальчик. Он смотрел неотрывно. Мать позвала его в купе, он схватил бутерброд и снова прилип к стеклу. Она пробовала усадить его к окну в купе, но он не согласился. Здесь, в коридоре, ему никто не мешал, он был безраздельным хозяином своей подвижной картины. Я уходил, разговаривал со своими спутниками, возвращался и заставлял его в той же позе. Что он там высматривал, как ему не надоело, ведь это было совершенно бессюжетное зрелище, не то что экран телевизора. Теперь я смотрел не в окно, а на него. Кого-то он мне напоминал. Ну, конечно, та же поза, те же грязноватые стекла. Они-то и помогли мне вспомнить мои детские путевые бдения. С той же жадностью и я ведь простаивал часами перед теми же стеклами, замороженный мельканием путевых картин. Оттуда, не из близи, несущейся навстречу, а из далей еле плывущих, почти недвижимых пространств, из лесной каймы на горизонте, серых туманных полей возвращались устремленные к ним детские мечтания. В тех смутных, расплывчатых картинах я был путешественником, был охотником и одновременно медведем, был журавлем, шагающим по болоту... Бесконечная смена березок, елей, лесных проталин, деревень, пашен – и снова лес, просеки, изгороди – все это тогда почему-то не усыпляло, а возбуждало воображение. Я растворялся в огромности этой земли, она входила в сознание, откладывалась на всю жизнь. Спустя десятилетия у окна поезда, постукивающего по рельсам Германии, а то и Китая, где каждый клочок обработан, откосы железнодорожных насыпей сплошь засеяны, в моем восприятии присутствовали впитанные детской душой просторы, эти стояния у окна.

Вдруг в бесформенной зыбкости воспоминаний, глядящих из закатного окна, обозначилось что-то. Это был мужик, огромный, в желтой рубаше, с колом в руках. Смутно вспомнился станционный палисадник, несколько телег, лошади с холщовыми торбами на мордах. Но все это: и привокзальная площадь с деревянными мостками, перрон, станционный колокол – все было как бы задником, а впереди, подняв кол, мужик бежал за пареньком, который, прикрыв голову руками, мчался вдоль перрона по ходу поезда. Он бежал, прихрамывая, лицо его было обращено к вагонам, на какой-то миг глаза наши встретились. Ужас был в его взгляде, крик о помощи, а перрон был пуст, мне показалось, что я единственный человек, единственный свидетель, которого он увидел; я наклонился к краю рамы, но в окно уже вошли огороды с чучелами, шламбаум, и станция исчезла, как исчезали все другие станции. Догонит ли его этот с колом, убьет, что будет с ним, за что он его так – ничего этого я никогда не узнаю. Помню свое отчаяние, которое росло оттого, что поезд не останавливается, мчится все дальше, а там, может, парня догнали и бьют, убивают, и никто этого не видит, не знает, и я не могу никого позвать, показать. Кажется, я действительно закричал, побежал к отцу, который играл в карты в купе, никто ничего не понял из моих объяснений, и я понял, что ничего не могу им объяснить. Кажется, так оно было, но с уверенностью не могу сказать, да и какое это имеет значение. Значение же имели огромные глаза этого паренька, мужика того я узнал бы, а от парня остался только ужас, заполнивший все окно, и невозможность вмешаться, помочь, закричать. И опять пошли перелески, колыхания проводов, песчаные тропки в зеленой траве, голубые поля льна, серебряные – овсов, красные – гречихи, золотистые – ржи, сизые – капуста, ельники, клевера, рыжие стада – огромный мир, который заботливо старался смыть ту случайную картинку. Она затерялась в памяти. Но сейчас, глядя в такое же пыльное, в грязных потеках окно, я с завистью вспомнил свое мальчишеское отчаяние.

Дилемма

Поздно вечером ко мне в номер зашел Николай Иванович. Был он в длинном плаще, в шляпе, надвинутой на глаза. Шепотом попросил меня пойти с ним в город. Необходимо, мол, позарез, лично ему. Умолял меня одеться и отправиться с ним. Куда, зачем – не говорил, прикладывая палец к губам и кивая на стены, которые имели уши, аппараты, которые имели стены, потолки и любую мебель.

С тех пор как мы приехали в Японию, Николай Иванович обрел таинственность, простодушие его сменилось на подозрительность, ходить он стал иначе – руки в

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru карманы своего длинного плаща, глаза зыркают по сторонам, бледное сырое лицо его лишилось постоянной своей виноватой, располагающей к себе улыбки. Чертыхаясь, я оделся. На улице Николай Иванович сказал, что нам необходимо зайти тут, неподалеку куда-то, где я должен буду ему помочь в чем-то. Более внятно он не объяснил, повторяя: «Вы сами увидите».

В нашей маленькой делегации из четырех человек Николай Иванович был самым благонадежным. Кроме того, наиболее скромным и рядовым. Он впервые выехал за границу, боялся капитализма, боялся провокации, к тому же в Японии ему все японцы казались на одно лицо, так что повсюду за ним следовали одни и те же наблюдатели. Со мной, поскольку я тоже был рядовым, у него установились доверительные отношения. Со мною он позволял себе расслабиться и превращался в уютного, удивленного японским чудом, опечаленного провинциала.

Пересекли ярко освещенную улицу, нырнули в переулочек, Николай Иванович уверенно разбирался в ночной путанице токийских кварталов. Вообще надо заметить – меня поражало, с какой быстротой наши русские люди, будь то туристы или делегаты, осваивают географию чужих городов. В смысле экономики. Планом не пользуются, языком тоже, тем более японским, но уже на второй день знают все супермаркеты – где, что следует покупать, где какая распродажа, как добраться до толкучки. Туристская группа или делегация действует как пчелиный улей, отдельные особи собирают информацию, мгновенно обмениваются ею, и этот единый организм в самые короткие сроки осваивает довольно большую территорию. Неизвестно, когда, каким образом Николай Иванович нашел этот магазин. Назывался он секс-шоп. Обыкновенный магазин сексуальных принадлежностей, с музыкальными записями, слайдами, книжками. Главным же образом со всевозможными принадлежностями женского и мужского пола. Начиная с разного калибра детородных органов до надувных бюстов. Цепи, хлысты, шипы и прочие средства для мазохистов. Аппаратура в помощь начинающему садисту, отдел лесбиянок, отдел педиков, соответствующие костюмы, бюстгальтеры, трусы разных назначений. Почти универмаг. Да, кроме того, еще возбуждающие домашние украшения: лампа в виде огромного мужского члена, порношкатулки, колоды порнокарт, порнокалендари, порноживопись, порнотаблицы с изображением способов любви у разных народов. Порноиндустрия демонстрировала здесь свою серийную продукцию.

Николай Иванович притащил меня сюда, чтобы выяснить о таблетках, – здесь продавались таблетки для усиления мужской активности: ему надо было узнать, сколько их надо купить, какова гарантия, для какого возраста они годятся, а главное – что они могут. Выбрал он позднее время, чтобы я не стеснялся и ему тоже было посвободнее.

Каким образом, не зная ни одного слова ни на одном иностранном языке, он обнаружил эти таблетки, было для меня загадкой.

Народу в магазине почти не было, нами занялся немолодой продавец, видимо, здесь уже заметили Николая Иванoviча, потому что, кроме обязательной японской улыбки, у продавца была добавлена еще одна маленькая улыбочка. Я на своем плохом английском стал его спрашивать, он на таком же плохом английском отвечал, так что мы понимали друг друга. Между делом он осведомился, откуда мы. Николай Иванович предупредил меня о конспирации, он был уверен, что за нами следят, боялся навести на след и опозорить нашу великую страну.

– Мы норвежцы, – сказал я, решив, что вряд ли этот японец знает норвежский и сможет нас уличить.

Я переводил, как мог, описание пилюль, дозировку, характер действия. Гарантии магазин не давал, некоторым помогает, некоторым нет, есть мужики, которым уже ничего помочь не может, им не пилюли надо покупать, а специальное приспособление. Японец предложил попробовать эти протезы.

Со всех сторон свисали гениталии, блестяли кожаные панцири со стальными накладками, стояли высокие ботфорты. Передовая технология вооружала мир секса, совершенствовала его, видно было, сколько выдумки прилагали механики, психологи, дизайнеры.

О половой деятельности советских донжуанов не хотелось вспоминать, такой удручающе бедной она выглядела. Наши, как всегда, брали количеством.

Опробовать пневматическое устройство Николай Иванович отказался. Он конфузился,

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
вся ситуация причиняла ему страдание.

Таблетки предназначались для разового употребления, но были, оказывается, наборы таблеток для постоянного приема, насколько я понял, для курса в течение двух недель, после которых какое-то время мужчина мог рассчитывать на успех. Но эти были много дороже. Были таблетки совсем дорогие, чем они отличались, я выяснить не мог, да и продавец не очень разбирался, судя по его жестам, речь, возможно, шла о повышенном качестве.

Выслушав мой перевод, Николай Иванович задумался, затем, пробормотав продавцу извинения, попросил меня выйти, посоветоваться.

Стоя на улице у витрины, Николай Иванович, краснея, потупясь, признался, что таблетки предназначались не для кого-то, а лично для него самого. Новая жена была моложе его на двадцать с лишним лет, разница болезненно сказывается, возникло позорное несоответствие обязанностей и возможностей, как выразился Николай Иванович.

– Она женщина пылкая, этим и нравилась мне, а я не в состоянии удовлетворить все ее заявки. Тяжело. Чувствуешь себя виноватым, каким-то обсевком. Я уже и коньячком пробовал взбодриться, принимал травки всякие.

В условиях своего областного центра Николай Иванович был знаменитостью, единственный настоящий писатель, внесенный в книгу членов Союза писателей, человек на виду, соответственно супруга его не могла позволить себе шашни на стороне. Как я понимал, сам Николай Иванович дошел до такого отчаяния, что не препятствовал бы, но в условиях Б-ска такую комбинацию провести невозможно.

Все это Николай Иванович набросал кое-как, торопясь перейти к своей, как он выразился, дилемме. Пилюли, теперь уже ясно, гарантии не давали, действие их, в лучшем случае, будет кратковременным. Те, которые получше, – на тех валюты не хватит. Купить он может один набор плюс еще две одноразовые таблетки. Все это Николай Иванович подсчитал. Дилемма состояла в том, что на эту сумму он высмотрел в магазине две модные кофточка. Спрашивается, что лучше, что будет выгоднее для него? Именно для него, с точки зрения супружеских взаимоотношений.

В шоп мы не вернулись, следовало решить эту совсем не простую задачу. Супруга Николая Ивановича любила приодеться, несомненно, появление ее в японских кофточках произведет впечатление на городских модниц. Она будет счастлива. Приобретение же пилюль Николай Иванович собирался скрыть, не разоблачать себя перед супругой. Естественно, она спросит, на что он израсходовал свои иены. Как отчитаться, тоже вопрос. С другой стороны, заменяют ли кофточка физическую, так сказать, плотскую часть супружеской жизни? По мере дискуссии дилемма переросла в противоречие между духовным началом жизни и низменным, сладострастным. Правда, я усомнился, можно ли считать кофточка духовной частью, на что Николай Иванович возразил, что для женщины наряд – это красота, та самая, которая спасет мир. Ничего не решили в тот поздний вечер. Наутро, за завтраком, удрученный, помятый вид Николая Ивановича показал мне, что дилемма, видимо, не дает ему покоя. По дороге в редакцию японской газеты Николай Иванович продолжал рассуждать о том, что пилюли в какой-то мере имеют эгоистический интерес, в то время как кофточка – свидетельство бескорыстной любви и даже самопожертвования. Кроме того, они будут действовать дольше, чем пилюли, и гарантия тут обеспечена. Но брак – это не кофточка, возражал я, любовь требует близости. Я был тогда моложе Николая Ивановича, и решение казалось мне очевидным. Мужчины шли на все ради обладания любимой. Кофточка всего лишь тряпки... Мы так горячо обсуждали эту тему, что наши двое начальников – один секретарь Союза писателей, другой директор института – включились в спор. Они были чуть старше Николая Ивановича и быстро разобрались в ситуации. Кофточка оказались им более надежным вкладом капитала. Они и сами предпочитали кофточка и тому подобные подношения. Проблема иного вклада в семейную жизнь перед ними, очевидно, не возникала.

– Любовь ждет материальных доказательств, – рассуждал директор института. – Секс в большинстве случаев действует по законам вождления, он не нуждается в богатстве души, ему чужд альтруизм. Конечно, нужно гармоничное сочетание физического и платонического...

Секретарь Союза писателей рассуждал проще:

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
– Ты, Николай, учти: лучшее средство сама женщина. Она, когда благодарна, заменит любую таблетку. Сработает так, что тебе ни о чем беспокоиться не надо. Одна кофточка, потом вторая, долг платежом красен.

Уговорили. Кофточки были хороши. Николай Иванович нам показал их упакованными в целлофановые коробки с рисунком. На рисунке была изображена кофточка, разрисованная – одна драконом, другая веткой сакуры – на аппетитной японской красоте.

Год спустя я случайно встретил Николая Ивановича в Москве, в метро. Он осунулся, сгорбил, рассказал, что печатается в журнале новая его повесть, что избрали его депутатом областного совета. Приятные эти новости никак не соответствовали его потухшему виду.

– Что-то случилось? – спросил я.

Некоторое время он молчал, глядя себе под ноги, потом сказал, что жена ушла от него. К начальнику пароходства. Несколько месяцев назад. Вполне вероятно, контакты у них начались, когда мы были в Японии.

– Неблагодарная, – сказал я. – Вы мучились, выбирали, а она...

– Да, смешно, – сказал он. – Ушла, и меня же обвинила.

– В чем?

– Я признался ей насчет своего выбора. Она мне сказала, что я подкупить ее хотел. Что она за тряпки не продается. Может, это способствовало, может, я действительно сглупил.

– Ерунда, в любом случае она свалила бы на вас. Так всегда поступают те, кто не прав.

Мне больше нечем было утешить его. Какая-то правда в словах его жены была несомненно.

Пепел

В пятом классе я подружился с Шуркой Бобовиковым. В классе Бобика не любили. Было в нем что-то собачье, жалкое, как у голодной дворняжки: тупой приплюснутый нос, большие уши, острые зубки. Он подлизывался к учителям, был жаден и труслив.

Однажды он увидел у меня марку, наклеенную на тетрадь. Это была траурная марка с Лениным. Бобик стал ее выпрашивать. Я послал его подальше, но он не отставал, скулил, потом догнал меня после уроков, продолжал канючить, а на следующий день, взяв с меня честное слово, признался, что собирает марки, и показал свой альбом. Альбом был тощий, но немецкий, в нем были напечатаны марки разных стран, на некоторые наклеены настоящие, цветные. Бобик, и вдруг собирает марки. Зачем ему марки? Меня рассмешило, что эта собачья шлёпа называет себя коллекционером.

Я первый раз видел и альбом, и заграничные марки, больше всего мне понравились две треуголки. Красивые, на одной – пальмы, на другой – зебры. Я не знал, что бывают треугольные марки.

– Дешевка, – ухмыльнулся Бобик. – Только не лапай. Марки пальцáми не берут.

– Пальцáми, – передразнил я, – а чем их берут?

И он опять ухмыльнулся, уже надо мной, свысока, в руках его оказался никелированный пинцетик; ловко подцепив марку, он показал мне водяной знак, движения его стали мягкими, ловкими.

Ценными оказались какие-то невзрачные немецкие и английские марки с надпечатками. На одной был усатый мужик, кто такой?

– Бисмарк, – пояснил Бобик и принялся показывать мне королей и королев, о

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru которых я понятия не имел, и каких-то других знаменитостей; он красовался передо мной, наслаждался своими знаниями, тем, что мог меня учить. Его коллекция, хвалился он, насчитывала восемьсот девяносто марок. Я запомнил эту цифру. Огромная цифра, которая замаячила передо мной. Я вспомнил, что у матери в шкафу лежала пачка старых писем с польскими марками. Они появились для меня отдельно от конвертов, сами по себе, крохотные разноцветные картины, с портретами, какими-то башнями... С этого все началось. Марки стали обнаруживаться у соседей, конверты валялись на помойке, марки можно было выпрашивать у почтальонов, в конторе, которая была в нашем доме. Через месяц у меня набралось их двести сорок штук. Первенство Бобика не давало мне покоя. Он оказывал мне покровительство, иногда одаривал своими отходами, то есть дубликатами. Не знаю, почему я терпел его превосходство, если б кто другой, а то этот недотепа, тупарь, но он научил меня, как отпаривать марки от конверта, как наклеивать их в тетрадку, и всяким другим тонкостям. Иностранные марки он покупал. Оказывается, на Литейном был специальный магазин для филателистов. Я помню, какое впечатление произвел на меня длинный застекленный прилавок. На зеленом сукне лежали в прозрачных кармашках блоки новеньких роскошных марок. Яркие многоцветные картинки – негритянские воины, тигры, храмы, караваны. Словно заморские тропические бабочки. В массивных шкафах мерцали корешки толстых каталогов. На высоких стульях сидели взрослые дяди и листали альбомы разных стран. Альбомы Бельгии, Мексики, Швеции. Под каждой маркой карандашиком была написана цена. В рублях. Копеечных марок было немного. Дяди приходили со своими каталогами. Почему-то все каталоги были на немецком языке. Продавались альбомы. Дорогие, увесистые, с золотыми тиснениями, сладостно пахнущие кожей и свежей, еще не тронутой бумагой. Недостижимое хорошо помнится. Я откладывал мелочь, которую получал от матери на завтраки. Большие медяки обменивал на серебро. Жизнь обрела цель. Цель состояла в том, чтобы обогнать Бобика. Для этого надо было попасть в таинственный, роскошный мир филателии. Для этого нужны были деньги.

Я приходил в магазин вместе с Бобиком. Его тут знали. Деньги у него водились, иногда бумажками. Таких на завтраках не накопишь. Перед приходом Бобик начищал ботинки, прислюнивал волосы.

Покупку нам клали в конверты со штампом магазина. Магазин был частный. В тридцатые годы кое-где еще сохранялись частные магазины – остатки нэпа. Может быть, он числился кооперативным. Филателистический – не имел государственных конкурентов.

Мы шли к нам в парадную, на лестницу, садились на мраморный подоконник, и Бобик выкладывал свою добычу, сверх купленных марок. Несколько лучших марок он всегда прихватывал. Он показывал мне, как это делается: запускал руку под страницу и стягивал марку, прилипшую к ладони. Каким образом они прилипали – был его секрет. Но интересно, что я не спрашивал его. Я даже боялся, что он научит меня этому. Как я теперь понимаю, что-то мешало мне переступить. Что именно, не знаю. Но прямое воровство ужасало меня. Коллекция Бобика росла, а моя остановилась. Советские марки – те, что ходили на конвертах, – работницы в платочках, красноармейцы в буденовских шлемах, матросы – все это повторялось, заграничных же марок не прибывало, а старинных тем более. Покупать я мог только французские колонии, которые почему-то стоили недорого. Однажды я не вытерпел и стащил у матери рубль. Конечно, это я не считал воровством. Мы жили бедно. Отец был выслан в Сибирь, мать целыми днями шила платья на заказ. Она гордилась моими отметками, учеба давалась мне легко, поэтому всякие драки, школьные битвы сходили мне с рук. Классный руководитель Ксения Аркадьевна, как я теперь понимаю, хотела отвлечь меня от дурного влияния с помощью общественной работы, она давала мне всякие поручения, однажды поручила собрать деньги на учебники. По полтора рубля с человека. Сперва у меня оказалось на руках двадцать с чем-то рублей. Назавтра должны были принести еще. После уроков я немедленно отправился в магазин марок и купил из этих денег альбом. Тоненький, дешевый, но лучше, чем у Бобика. Синий переплет, на обложке выпуклая надпись. Продавец уговорил меня еще купить две сотни наклеек, уголков, не помню уж точно, как они назывались. Весь вечер я переклеивал марки из тетрадки в альбом. Сладостное занятие. При этом обнаруживалось, как мало у меня марок. Были страны, вовсе не заполненные, – Испания, Аргентина – ни одной марки. Еще какие-то страны. Назавтра я накопил этих марок. Я восседал на высоком стуле, и продавец, толстый, в золотых очках, с уважением доставал из ящиков указанные мною марки. О будущем я не думал, сколько я ни пытаюсь сейчас вспомнить, не было никаких опасений, я не придумывал, что я скажу, как оправдаюсь. Было счастливое чувство приобретения. Груда марок росла передо мной, заслоняя все последствия.

На месте будущего сияла мечта о следующем альбоме, толстом, на тысячи марок, каталоге, сериях марок, играющих всеми цветами радуги, марок неведомых островов, затерянных княжеств, марок юбилейных, с надпечатками. Приобщение к таинственной касте людей, связанных общей любовью-ревностью. Примерно так я расшифровываю то давнее чувство, что наполняло меня.

В тот же день я показал Бобику свой альбом, где почти на каждой странице трепетали лепестки марок. Я их еще не подсчитал, но моя коллекция становилась не хуже, чем у Бобика, это был рывок, во всяком случае, он был огорошен и обозлен.

Вскоре, разумеется, все раскрылось. Несколько дней я тянул, врал Ксении Аркадьевне, что забыл деньги дома, что мать ушла, заперла их в шкафу, но настал день и час, когда пришлось признаться во всем. Подробности признания начисто исчезли из памяти. Стыд аккуратно стер обстановку, слова, теперь там белое пятно, зато далее следует заключительная сцена, памятная во всех подробностях. Мать зажала мою голову между колен и ремнем стегала меня по голой заднице. В это время в печке медная дверца была раскрыта и там пылал альбом, вся моя коллекция. Альбом корчился, сжираемый пламенем, желтые языки раскрывали страницы, забирались внутрь, марки, марки уносились, махнув синеватыми вспышками. Только ярость матери могла придумать такую казнь. Чтобы лицом к печке, чтобы я видел, как гибнет не только то, что куплено на растрату, но и все остальное, честно приобретенное за несъеденные завтраки, выпрошенное, подаренное.

Сгорело все, без остатка. Рыдая, я сидел у печки, перед кучей остывающего пепла. Высокая, белого кафеля печь осталась холодной. Злости на мать не было, справедливость кары не подлежала сомнениям, тем более что я слышал, как в соседней комнате она с дядей Игорем обсуждала, где достать деньги, возместить мою растрату, двадцать пять рублей была серьезная сумма. Потом дядя Игорь вышел ко мне, сел рядышком, помолчал, осторожно погладил меня по голове, я уткнулся ему в колени. Так мы долго просидели.

Он гладил, почесывал мою голову, бормотал:

– ...Те, у которых пусто внутри, хватаются за всякую всячину – марки, монеты, коробки... коллекционеры – это от пустоты, своего ничего сделать не могут, вот и собирают, собирают неудачники.

Говорил он как бы себе, а я как бы подслушивал и поэтому запомнил.

Меня перевели в другую школу – чтобы избавить от позора и от Бобика. К маркам я никогда не возвращался.

В юности досталось мне собрание гравюр, был соблазн их собирать, очень меня уговаривали. Уклонился. Говорил, что времени нет. Времени, конечно, не хватало, но на самом деле – боялся. Себя боялся.

Школьные годы давно слились в один нераздельный поток детства, а вот пятый класс, четко обозначенный тем происшествием, остался, то событие с марками не стало ни забавным, ни милым, оно торчит такое же постыдно страшное, гора окаменелого пепла. Никак не удастся посмеяться над ним.

Остался интерес к чужим коллекциям, втайне удивляюсь диковинным человеческим увлечениям – чего только люди не собирают. Один московский начальник повез меня к себе на дачу, показал сарай, где на дубовых полках выстроилась шеренга обуви разных стран и эпох. Ботинки, туфли, сапоги, ботфорты, башмаки – все заботливо протертые, смазанные. Я видел коллекции керосиновых ламп, перочинных ножей, граммофонов, флюгеров, журнальных обложек, пуговиц, карандашей, гвоздей, спичек, флаконов. Хозяева этих собраний составляли особую породу людей, они относились всерьез к своей страсти, и в то же время посмеивались над ней, и не могли от нее отказаться. Их азарт, их неутолимая жажда найти, достать, приобрести отпугивали меня и привлекали. Это было опасливое чувство запретного, временами я ощущал как бы подземные толчки тех давних темных сил.

С Бобиком мы встретились спустя много лет. Я собирал тогда рассказы блокадников для книги о блокаде, ходил по квартирам и записывал. Меня передавали от одного блокадника к другому. Однажды на Васильевском острове мне сказали, что в соседнем подъезде живет один блокадник, любопытный тип, хотя он вряд ли мне

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru подойдет. Да потому что он совсем не положительный герой, и кое-что рассказали о нем, всякие мрачные слухи.

Он не хотел меня принимать. Я долго уговаривал его сперва через приоткрытую дверь на цепочке, потом в полутемной передней. Я привык к тому, что многие блокадники не хотят возвращаться к своим тяжелым воспоминаниям. Но у меня существовало несколько приемов, которые помогали.

– Голодному нечего стыдиться, – сказал я, – и святой с голоду хлеб украдет.

Он был хромым, опирался на палку. Маленькая задиристая борода сделала его неузнаваемым. Вдруг он пригласил меня в комнату, стал вглядываться и назвал меня по имени и тут же спросил «имя-отчество». Он обращался ко мне на «вы», настороженно, с некоторым подозрением. Не разрешил включить магнитофон. Рассказывал сухо, коротко. Ему перебило ногу в первый месяц войны, демобилизовали, остался в городе, голодал, как и все в блокаду. Родители умерли.

Я водил карандашом по бумаге, делая вид, что записываю его рассказ. Комната была большая, уставленная книжными шкафами. На шкафах стояли бюсты чугунного литья всей династии Романовых. Висело много картин. Похоже, специальности у него не было. После войны он работал в жилотделе.

Странно, что он меня узнал. Я никак не мог высмотреть в нем того мальчика, вроде как ничего прежнего не осталось в нем, но все же это был Бобик, и я, не стесняясь, передал ему то, что рассказывали о нем, как он обирал умерших от голода людей и на этом разбогател. Он не обиделся, не возмутился, он потребовал уточнить, что значит «обирал».

– Вы знаете, что такое мародеры на войне? – сказал я. – А я знаю. Я имел дело с этой сволочью. Вы же забирали не продукты.

– Продуктов у них не было, это точно, – подтвердил он. Похоже, что ему нравился мой гнев. Оказывается, он являлся не только к умершим, он заставлял еще живых, тех, кто уже не вставал, с ними он тоже не церемонился, он давал им кусок сахара, буханку хлеба, торговаться они не могли, и забирал то, что ему нужно было. Он все это рассказывал с вызовом, не стесняясь. Жаль, что я не включил магнитофон, попробую по памяти восстановить его речь. Она была пересыпана матерщиной, он не оправдывался. Когда наступила блокада, он стал выменивать свою коллекцию марок – а она уже была приличной – на хлеб и крупу, выменивал у одного коллекционера, начальника; однажды, придя к нему, увидел, что дом его разбомблен, дымятся развалины, тогда Александр Прокофьевич, так, оказывается, величали Бобика, забрался туда по разбитой лестнице и вытащил несколько альбомов. Это было не фуфры-мухры, это был капитал! На черном рынке, оказывается, коллекционные марки котировались. Были прохиндеи, которые переправляли их на Большую землю и, по слухам, даже за линию фронта. У Александра Прокофьевича было то преимущество, что он знал многих коллекционеров.

– Да будет вам известно, что я спас многие коллекции. Их растащили бы. Сожгли! Вы видели эти мертвые квартиры, где хозяйничали крысы и управхозы? Вы не видели. Что, по-вашему, я должен был уйти, оставить все на гибель? Я не мародер, я из тех, кто, если угодно, культуру города нашего сохранял. У меня теперь одна из лучших коллекций образовалась. Вот мое оправдание! – он показал на шкафы, заставленные альбомами, потащил меня в соседнюю комнату, где высились стеллажи с какими-то продолговатыми ящиками, каталогами. Вся эта двухкомнатная квартира была набита его коллекцией, кроме того, еще в ящиках, оказывается, было огромное собрание открыток, которые он тоже нахватал во время блокады. Заодно подбирать стал фарфор, картины, имеющие, конечно, художественную ценность; надо бы и книги, так они, проклятые, тяжелющие, много не утащить. Всякое, конечно, с ним случалось, без греха не собрать такое.

– Только мне все равно, с кем сотрудничать, с Богом или с дьяволом! – заявил он. – Я не судим! От напраслины не спасешься, да я на все эти толки положил! Я, к вашему сведению, такое счастье имел от этого собирания.

Один из альбомов пахнул дымом до сих пор, он заставил меня понюхать. Другой был помят, порван кирпичами.

Спекулировал, антиквариат выменивал на продукты, не для того чтобы подкармливать

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
родных и близких, нет, извините, не было этого. За кусок рафинада можно было добыть сокровища, чтобы не подохнуть, человек отдавал любое. Все шло для коллекции, он ничего не боялся, лишь молился, чтобы дом его не разбомбило, пожара бы не было, на остальное ему было наплевать.

Он раскраснелся, стучал палкой. Он был фанат, настоящий фанатик, и воспевал свой фанатизм, только фанаты создают настоящие коллекции, культурные сокровища, особенно в нашей стране, где не умеют ни хранить, ни ценить...

Он ни о чем меня не спрашивал, ему важно было высказаться, моя юность, моя жизнь его не интересовали, его собственное существование сосредоточилось на одной цели, которая была важнее всего окружающего. Это была одержимость, замкнутая на себе, уверенная в справедливости своего дела.

Мне казалось, что в глубине его глаз искрится смехок, направленный на меня: «Вы-то меня должны понять!» Как будто он имел в виду то давнее происшествие. Скорее всего, он и не думал уличать меня. Я же теперь слушал его воспаленную речь со странным чувством грусти. На том выжженном пожарище моего детства так ничего и не прижилось. Никаких увлечений, осталось пепелище. Давно уже жизнь моя стала слишком бесстрастной, разумной.

Следовало хотя бы по памяти записать посещение Александра Прокофьевича. Я этого не сделал. Скорее всего, у меня получилось бы осуждение, что-то отрицательное. Почему-то этого не хотелось.

Исчислил Бог царствие твое...

По-моему, это было во Дворце приемов на Воробьевых горах. Нас, в очередной раз, собрали на правительственный прием. Мы сидели за длинными банкетными столами. В те времена это выглядело роскошно. Столы действительно блистали неподдельным богатством. Держава была в полном соку. С тех пор, поколесив по свету, побывав на разного рода приемах и в США, и в Германии, и в Италии, могу кое-что сравнить и убеждаюсь, что те, хрущевские, приемы были на высоте, в них была роскошь без излишеств, без той жадной нынешней нищей показухи, когда ставят суповые миски черной икры, чтобы убедить в своем богатстве.

Место мое было за одним из ближних к хрущевскому столов, то есть там, где лицом к нам восседало в полном наборе Политбюро, напоминая Тайную вечерю. Творилось такое, что мы больше слушали, чем ели, больше говорили, чем пили.

Начал, по обыкновению, Хрущев. То есть кто бы ни начал, ни открывал, все равно Хрущев перехватывал – и оставался в памяти именно он. Брюхо вперед, короткие жесты толстой рукой – и пошел. Куда его вынесет, никто не знал, он тоже. Но надо признаться, речь его всегда была интересна. Другие, привыкшие к логике написанных докладов и речей, возмущались, а я слушал его живую беспорядочную горячую речь с удовольствием. Он творил. Он сочинял, вспоминал. И все это талантливо. Нечто подобное сохранилось в надиктованных им мемуарах. Первые мемуары руководителя страны Советов. Они выгодно отличаются от воспоминаний его соратников – Микояна, Громыко, Брежнева и последующих, вроде Горбачева. У Хрущева меньше других присутствует стремление приподнять себя, меньше хвастовства. Он заиклен на своей ненависти к Сталину, ненависть его перемешана со страхом, с попыткой объяснить феномен сталинского всевластия. Он повторяется в этом, произвольно вновь и вновь возвращается к тем годам унижения, подлой и абсурдной жизни. Иногда он пытается быть объективным, напоминает о лаконизме и простоте сталинских выступлений, но затем снова жажда разоблачения и обличения захлестывает все его благие намерения. Во всей обильной антисталинской литературе, которую я читал, написанное Хрущевым носит наиболее убедительный, убийственный характер. Примеры, которые он приводит, заставляют думать, что паранойя Сталина проявлялась давно и открыто. Чего стоят рассказы Сталина о себе, о своей молодости, хотя бы рассказ о том, как, будучи в ссылке в Туруханском крае, он не мыл после еды посуду, а давал вылизывать ее собакам. Неслыханный культ породил в свою очередь неслыханный цинизм. Всевластие в ежедневном обиходе было скучно до идиотизма. Члены Политбюро отбывали как мучительную повинность ужины со Сталиным, это было однообразное тупое застолье, в порядке развлечения он заставлял их плясать, петь, вот и весь уровень общения и веселья, в котором Сталин проводил десятилетия своего царствования.

Поразительные мемуары!

На банкете, то бишь приеме, Хрущев начал про установки в искусстве, потом о культе и каким-то образом выгреб на Солженицына, на его повесть «Один день Ивана Денисовича», недавно напечатанную в «Новом мире», которую он, очевидно, прочел. Не просто ее упомянул, а похвалил, и любопытно, за что – за то, что вот, мол, писатель показывает, как в условиях лагеря Иван Денисович умудряется работать добросовестно, его несправедливо осудили, а он тем не менее трудится по совести, не позволяет себе кое-как.

Вокруг этой темы сделал несколько кругов и в заключение провозгласил тост за Солженицына. Поднял фужер с вином:

– За товарища Солженицына, который здесь присутствует!

Солженицына еще мало кто знал, и раздались возгласы:

– Где он? Просим встать! Не видно!

Все принялись оглядываться. В зале за столами сидело человек двести, может, и больше. Начали приподниматься. Задвигались, движение это устремилось к противоположному от Хрущева концу зала, где рядом с Твардовским сидел Солженицын. Он встал с рюмкой в руке. И, чтобы увидеть его, поднимались один за другим все присутствующие. Они обернулись спиной к членам Политбюро, к самому Генсеку, лицом к писателю, еще незнакомому. Я тоже встал, увидел вдали Солженицына, человека невысокого, заурядной внешности, вроде бы неприметного, если не считать твердых его, не улыбочивых глаз. Он просто стоял, для меня же – возвышался над всем этим великолепием и блеском еще непочатой снеди, разложенной на хрустале среди накрахмаленных скатертей: розовых ломтей семги, балыков, осетрины, колбас, буженины, желтых розочек сливочного масла, салатных пирамид на мельхиоре, лакированных помидоров, огурчиков, лимончиков, винограда, графинчиков, бутылок – над всеми этими яствами, вчерашний зэк, человек из той лагерной жизни, где бились насмерть за пайку хлеба. Все они сейчас протягивали рюмки, стояли перед ним – заслуженные и народные, уцелевшие в той многолетней охоте-облаве от арестов, ссылок, расстрелов, все эти деятели культуры, журналисты, артисты, писатели, художники, режиссеры, поэты, среди которых хватало доносчиков, стукачей, сексотов, верных «автоматчиков» партии, как похвалил их недавно Хрущев, так называемых писателей вроде Грибачевых, Сафроновых, Алексеевых, Ермиловых и прочей своры, ненавидящих и Твардовского, и «его выкорыща» Солженицына, они не могли остаться сидеть, волна подхватила, подняла над их непримиримой злобой, завистью к Солженицыну – чужаку, опасность которого они учуяли звериным своим чутьем.

Поднялись члены Политбюро. Им неудобно было оставаться сидеть, тем более что Генсек стоял. Получилось невольно, что теперь уже Политбюро в полном составе стоя приветствовало недавно безвестного писателя, явившегося сюда из кровавого, вонючего смрада лагерных барачков, из той жизни, о которой они знать не хотели, требовали забыть ее, замолчать. А она вот сюда, во дворец вошла и стоит так, словно бы вся эта жратва, алмазный блеск бокалов, все официанты в черных фраках – всё в честь нее, ей прислуживают, ей угождают.

Это был знаменательный миг, может, наивысшего торжества литературы. Да нет, не литературы, потому как ценителей литературы здесь было немного, это было торжество лагерной пыли, доходяг, всей этой падлы, контры, которую не успели свалить во рвы, присыпать землицей.

Это был момент истины, выражение, взятое из корриды, что оно в точности обозначает, не знаю, но, будучи на бое быков, я сам для себя поймал этот момент. Когда после красочной процедуры с матадорами бык, уже окровавленный, украшенный вонзёнными в него бандерильями, порядком распаленный, замороченный, после ритуальных па тореадора с алым плащом вдруг сходится с ним один на один, и для того, и для другого наступает завершение поединка. Завершить его должна смерть. Гибель подходит открыто, со шпагой в руке, нанести свой последний удар.

Так мне казалось там, в Мадриде, так мне показалось здесь, в Москве, на Воробьевых горах. В тот день и час словно бы всполох осветил окончание долгого пира всей этой нелепой бесчеловечной системы. Как на пиру у Валтасара, огненные

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
слова зажглись на стене.

Я всегда любил эту легенду, может быть, потому, что она связана с именем Даниила. И, вспомнив о ней, я не удержался, повернулся, посмотрел на это наше Политбюро, пребывавшее еще в могуществе и славе. Оно очутилось теперь как бы в конце зала, перед ними были только спины, разве что один я стоял к ним лицом, один я в этот миг уловил на их лицах непрощающее чувство, поджатые бледные губы Суслова, непроницаемое лицо Микояна, этого гения любого президиума, Кириленко с физиономией «бульжник – оружие пролетариата», все эти вожди, висающие по коридорам и «красным уголкам» страны. Люди, которых мы знали по фамилиям, а не по делам, по президиумам, по трибуне Мавзолея, по тому, как они все теснее и теснее спланивались, ненавидя и боясь друг друга. Ах да, еще стоял Брежнев, его я припомнил как бы задним умом, когда он стал генсеком, я стал вспоминать и припомнил его, молодавого, красивого, который смотрел как бы с некоторым нехорошим удовлетворением. Идеолог Ильичев, этакий квазимодо – олицетворение злости, как он ни старался нравиться, собирая деятелей литературы, ничего не получалось, злость прямо-таки сочилась с его тонкогубого, искривленного лица.

И, когда через несколько лет эти люди создали заговор и скинули Хрущева, мне сразу вспомнился тот ареопаг жрецов, внезапно задвинутых в задний ряд. Такое не прощается.

События тех же 60-х годов и следующие за ними считаются исторически куда более важными, они вошли во все учебники, последствия их были серьезны, я же вижу в той встрече во Дворце приемов некую вершину. Впрочем, почему некую, просто вершину, без всяких оговорок. В тот час впервые перед всеми осознанно или неосознанно произошло наглядное противостояние художника и власти, антисталинизма и всей кофлы гнуснейшего из тоталитарных режимов. Власть партии была еще грозной, не прорезанной, а Хрущев был против них, как бы заодно с Солженицыным.

Разоблачение Сталина, сделанное Хрущевым на XX съезде партии, было поступком большой личной смелости. В этом Хрущеву не откажешь. И эта линия шла, так или иначе, но по восходящей вплоть до «Одного дня Ивана Денисовича», до «Теркина на том свете» Твардовского – прекрасной, недооцененной у нас поэмы.

Апофеозом этой политики мне представляется та встреча на Воробьевых горах, тот молниевый разряд, вспышка, которая запечатлела триумф хрущевской борьбы со Сталиным. Далее начались страхи, ухабы, буксовка, повороты-развороты. Отчего да почему, пусть разбираются историки. Я могу позволить себе излагать лишь личные впечатления.

Из многих выступлений Хрущева перед нами, писателями, а почти все они сбивались с регламента на свободный рассказ, я уловил, что он всегда обходил опасную для себя тему собственного участия в репрессиях, очевидно, поэтому он боялся до конца разоблачать преступления Молотова, Маленкова, Кагановича и других своих соратников. Он боялся вопросов в свой адрес. Это мешало ему быть последовательным. Да и по мере разрушения культа возрастало сопротивление партаппарата.

Слабостей, и оплошностей, и грехов у Хрущева хватало. На писателей орал, художников обижал, от каждой встречи с ним оставалось раздражение, возмущение, выходки его были смешны, глупы, вел он себя зачастую по-хамски, и все же мне нравился этот человек. Я прощал ему многое, потому что понимал, более того, чтил его. За что? А прежде всего за смелость. Пройдя всю Отечественную войну, за три с половиной года отступления, сидения в окопах, бомбежек, обстрелов, танковых боев я убедился, что смелость фронтовая – вещь великая, но куда более великая и драгоценная – смелость гражданская. Ее у Хрущева хватало с лихвой. Никто из наших руководителей не отличился столь отчаянной, я бы сказал, бесшабашной отвагой, как Хрущев. Более того, все они, начиная с Ленина, были трусы. И Сталин был трус, и Молотов, и Маленков, и все другие. Когда началась Великая Отечественная война, никто из будущих членов Политбюро не вызвался пойти на фронт. Ни Гришин, ни Черненко, ни Кириленко, ни Соломенцев, ни Демичев, ни Щербицкий. Были на фронте, и то не на передовой, а как бы при фронте – Брежнев и Андропов. Все остальные отсиживались в тылу, кто парторгом, кто еще где-то зацепился. Главная же храбрость Хрущева проявилась в докладе на XX съезде партии – выступить в то время, разоблачая Сталина, замахнуться на этот незыблемый, сооруженный навечно культ при всех живых его создателях, не убоиться погибнуть

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru под его развалинами, на это нужно было огромное личное мужество. Могут сказать, что, мол, после смерти Сталина он не многим рисковал. Как знать, вот против Берии, живого и всесильного, он тоже выступил, не струсил.

На том торжественном обеде не Хрущев казался мне Валтасаром. Валтасаром было Политбюро, вся придворная партийная клика, это для них появилась грозная надпись, предупреждая о гибели несправедливого строя.

Три таинственных слова призванный пророк Даниил истолковал так: первое слово – «Исчислил Бог царствие твое и положил конец ему»; второе слово – «Ты взвешен на весах и найден очень легким» и третье слово – «Разделят царствие твое и дадут мидянам и персам».

Не поверил Валтасар этому провидению, и пир продолжался. А вскоре предсказания сбылись.

Сбылись они и с нами, только теперь дошел до меня вещей смысл каждого из этих толкований. И в мой адрес звучит – «ты взвешен на весах...», каким легким, пустым внутри оказалось наше «всепобеждающее учение», и как распалось царствие – «союз нерушимый республик свободных».

Тогда я воспринимал лишь общий угрожающий смысл, мне казалось, что Хрущев приветствовал бы эту надпись, и до сих пор кажется. В глубине души он уже отвергал эту партию, ее власть, ее методы, он шел к этому, кто знает, какие страсти клокотали в его душе, о чем он мечтал, на что замахивался. Если судить о Хрущеве по законам его времени, то он был героем. Но публика судит только сегодняшними законами.

Пир продолжался. Зазвенели рюмки, застучали ножи, вилки, зачавкало, зашамкало, заговорило. Кто-то, надрывая голос, провозглашал тост за партию, кто-то перекрикивал: «За наш ЦК!» – искательные улыбки обращались к поперечному, окруженному нимбом столу Политбюро, все спешило возвратиться в привычное русло сиятельных застолий. Огненные буквы погасли, но что-то сбилось и никак не налаживалось.

Незыблемый монумент дрогнул. Зазмеилась трещина, пока еле заметная, волосая, я смотрел на нее со страхом, это было новое, пугающее и в то же время счастливое чувство. Здание должно рухнуть, оно не так уж прочно, совсем не вечно, я не знал, доживу я или нет, никто в этом зале не знал.

Сюрприз

Когда симпозиум закончился, Гурам пригласил заведующую лабораторией Викторию Андреевну поехать в гости к своему дяде в горное село и уговорить на это Альберта Павловича Шаликова. Гурам расписывал Шаликову дядин сад – мандарины, хурма, инжир, сливы – филиал рая. Кроме того, он таинственно пообещал, что там их, возможно, ждет сюрприз. Он подчеркивал – возможно, всячески усиливая загадочность предстоящего. Шаликов, человек щепетильный, сомневался, удобно ли ему гостевать у Гурама, своего аспиранта, но Виктория Андреевна заявила, что это глупости, что репутация Шаликова слишком высока и никто не срезолирует, и наконец она, Вика, просит его, потому что без него ей ехать неудобно, а она никогда не бывала в горах.

Шаликов больше не сопротивлялся. Выехали поутру. Гурам вел свой «москвич» не торопясь, позволяя любоваться ущельями, горными лесами, скалами. Иногда останавливались, и сразу появлялся птичий гам, шум горной реки, запахи зелени. Однажды из-за поворота открылся вид на долину с виноградниками, белыми домиками. Как всегда, взгляд сверху на человеческое селение, на природу вызывал у Шаликова странное чувство отчуждения от земной жизни, словно бы он отделился и взирал на нее, маленькую, торопливую, с высоты вечности. Виктория Андреевна восхищалась горными вершинами, дикостью, раздольем лесов, радость дороги поглотила ее полностью, так что она забывала о своих спутниках, хватала за руку то Гурама, то Шаликова, не различая их, не видя. В ней была счастливая способность жить сиюминутностью, это помогало ей упрощать любые проблемы, решать их в лоб, не заботясь о последствиях. Вчера, когда они гуляли по набережной, Вика вдруг спросила его:

– Альберт Павлович, я вам нравлюсь?

Шаликов смутился:

– Похоже, что так.

– Так вот, имейте в виду, дело ваше безнадежно.

Она произнесла это сочувственно-весело. И, между прочим, ей удалось избавить его от того напряжения, которое он испытывал все четыре дня симпозиума, когда они сидели рядом. Тем не менее он сказал:

– Я ухаживал и буду ухаживать ради собственного удовольствия.

– Ради бога, ухаживайте, – сказала Вика. – Но в конце моего тоннеля вам ничего не светит, – и подмигнула. Она любила двусмысленности. Ее словечки, приколы пользовались успехом в институте. Пышная, маленькая, блистая яркими коричневыми глазами, она вела постоянную игру, поддразнивая всех рискованными шуточками, но при этом в ее лаборатории царил строгий порядок. Гурам там пользовался аппаратурой и утверждал, что когда Виктория Андреевна не права, надо первым делом просить у нее прощения.

Дядя Григол оказался статным, седоусым, неспешным красавцем из тех грузин, которых старость только украшает. Он принял гостей с поклоном, повел по саду, где деревья были словно иллюминированы хурмой, мандаринами, лиловыми лампочками инжира. Кое-где листва облетела, но отовсюду, сквозь ветви, светились оранжевые, желтые, карминовые, охряные...

– Уникально! – повторяла Вика и требовала восторгов от Шаликова.

Дом стоял между садом и двором. Дом был длинный, двухэтажный, с деревянной галереей по фасаду, множеством комнат, по коридору носились детишки, ходили женщины, дядя Григол знакомил с невестками, дочерьми, внуками, тетюшками.

Мужчины во дворе расставляли столы, стулья, носили бутылки с вином.

Застолье вел дядя Григол. Он сидел во главе стола, теперь уже в черном пиджаке, украшенном множеством орденов, медалей, значков. Как сообщил Гурам, во время войны дядя Григол был проводником наших альпинистов в горах, тех, что обороняли перевалы.

Сменял тамаду Шота, сухонький старичок, бывший начальник почты, так он представился, ныне консультант хора ветеранов труда и председатель комитета содействия чему-то.

Стол убрали цветами, грузинская еда, пахучая, малознакомая, сияла всеми красками – сациви, красное лобио, чахохбили, сулугуни, маринованная капуста, аджарские хачапури, горшочки с чанахи, теплые лавашы, все еле умещалось, украшенное перцами, блестело зернами граната.

Григол произносил тосты за каждого из гостей, славил прелесть Вики, силу и чистоту ее взгляда, ее умение радоваться жизни, – надо отдать ему должное, он сумел многое разглядеть и угадать; благодарил Шаликова за согласие посетить их бедное, заброшенное селение, призывал детей и внуков запомнить этот день, когда им посчастливилось увидеть великого русского ученого, – впервые в этом доме сидит за столом с ними академик-лауреат, известный во всем мире.

Шаликов хотел поправить, что он всего лишь член-корреспондент, но Гурам тихо сказал, что это ни к чему, для дяди аспирант – такое же почетное звание, как доктор наук, и Гурам боится, как бы после защиты, став кандидатом наук, не потерять в его глазах: «кандидат» – слово несолидное. Шаликов, смеясь, согласился, ибо и сам он, по сути, тоже пребывал в кандидатах в академики.

На мангалах готовили шашлыки, молодые обносили гостей новыми блюдами. Вика заставила Шаликова отведать маленькую рыбку цоцхали, еще какие-то лепешки, все это надо было запивать вином, Григол велел принести вино 1963 года, особое, солнечное.

Шаликову была приятна почтительность молодых и то, как все аккуратно ели и пили. Но самое замечательное наступило, когда запели грузинские песни. Хор сложился сразу, пели улыбаясь друг другу, пели самозабвенно, хотелось им подпевать.

Слуха у Шаликова не было, он боялся испортить пение, завидовал Вике, которая пошла танцевать, он и танцевать не умел, ему стало грустно за свою жизнь, неспособную для праздников.

– Вы правильно поставили меня на место, – сказал он Вике, – я скучен для женщин.

– Как поют, как поют! – повторяла Вика.

После каждой песни все смотрели на Шаликова, и он благодарно кивал, показывая, что хочет слушать еще и еще. Было удивительно, что поют для них, в сущности незнакомых людей, что все пиршество, все яства приготовлены для них двоих. За что, за какие заслуги? Они приехали и уедут и больше не увидятся. Ничего другого, кроме гостеприимства, бескорыстного, от этого счастливого, не было, и теплая волна благодарности всем этим людям подняла его, чтобы произнести тост, но в последнюю минуту Вика удержала его: ведет стол тамада, не положено самовольно нарушать его права, гостеприимство не напрашивается на похвалу.

Принесли новые шашлыки из осетрины.

– Это и есть сюрприз? – спрашивала Вика, Гурам заговорщицки подмигивал, просил терпения, подливал им вина, рассказывал всем о заслугах Шаликова, Шаликов рассказывал о диссертации Гурама, застолье разбилось на малые группы.

Дядя Шота попросил выпить за ученых, которые создали атомную бомбу на страх империалистам. Все аплодировали Шаликову, который пытался объяснить, что они не имеют отношения к бомбе и нет в ней заслуги ни наших ученых, ни мировой науки. Его не слушали: по словам Гурама, «когда пируют, нужно настроение, а не истина», – так он изрек по-английски.

Вечернее солнце золотило верхушки гор, во дворе молодые люди возились с какими-то стойками. Шаликов спросил – что это? Гурам приложил палец к губам. Шли к чему-то приготовления.

Налили какого-то легкого, почти бесцветного вина. Вика уговаривала Шаликова попробовать.

– Нет, нет, давайте без принуды, – слабо отбивался он.

– Вы пьяны, – она чмокнула его в щеку. – Как хорошо, я тоже пьяна.

Откуда-то из молодости ему вспомнились стихи Николая Тихонова о Грузии:

...И на дне стаканов многих
Видел женщину одну.

Он горячо читал стихи, обращаясь к Вике, и с тем же пылом заговорил о прекрасном умении грузин радоваться жизни, мудрейший народ, ибо в радости больше мудрости, чем в учености.

Он говорил, не замечая, как с земли отодвинули железные плиты и там открылась черная забетонированная яма. Приготовление кончилось, раздалась команда дяди Григола, два его рослых внука потянули цепи, перекинутые через блок. Разговоры стихли, в тишине раздавался металлический скрип.

– Смотрите! – сказал кто-то.

Из ямы показалось что-то черное, плоское, оно стало подниматься выше, выше, обозначилась фуражка, под ней голова, она росла, что-то знакомое увиделось в ее чертах. Большое, темное продолжало выдвигаться из ямы – шея... плечи... усы... Можно было подумать, что это бюст, но оно все выползло. Шинель, шинель... ей не было конца, наконец появились сапоги. Фигура, охваченная цепями, еще двигалась вверх, поднялась над землей, остановилась, покачиваясь, и повернулась к столу.

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Вика вскрикнула, прижалась к Шаликову.

Гурам просиял.

– Колоссально, а? – допытывался он. Рассказал, что, когда принялись сносить памятники вождям, дядя Григол приехал в райцентр и купил этот памятник, назначенный к сносу. Заплатил за него по весу, да еще скидку потребовал, как участнику войны, и с великими трудами привез его сюда. Сделал специальную яму, установил и прячет его здесь. По праздникам поднимает, люди приходят посмотреть.

Яму прикрыли железом, памятник опустили, он пошатнулся и встал, утвердился. Цепи с лязгом отпали, все делалось со сноровкой, и вот он уже стоял посреди двора как постоянная его принадлежность.

Лишенный пьедестала, он казался малорослым и выглядел уже не памятником. Черный, влажный, местами покрытый зеленой окисью человек словно вылез из-под земли и остановился, внимательно разглядывая всю компанию. Как бы приветствуя его появление, дядя Григол торжественно-приподнятым голосом провозгласил тост в честь вождя, генералиссимуса, которому человечество обязано... Рука его со стаканом вина протянулась к фигуре, потом к гостям. Все встали, напряженно-выпрямленные, приподняв свои стаканы. Один Шаликов остался сидеть. Он смотрел во все глаза на бронзового вождя. Давно он его не видел. И никогда так, рядом, стоящим на земле. Сталин казался ему помолодевшим.

Он не замечал, что его ждут. Вика протянула ему стакан.

– Нет, нет, – пробормотал он, – вы уж извините, это невозможно.

– Нехорошо, Альберт Павлович, не портите, видите, как они... это же формальность.

Шаликов покраснел, отвергающе помотал головой.

– Дядя Григол, принуждать гостя нельзя, – тихо сказал Гурам.

– Молчи! – Григол, тяжело ступая, направился к Шаликову, остановился перед ним. – Что было бы с нами всеми, если бы не товарищ Сталин. Неблагодарность... Мы с ним всю войну... Настоящий мужчина не изменяет своему командиру.

Шаликов сидел, упрямо опустив голову.

– В те годы вы бы не отказались, – продолжал Григол. – Не посмели бы. Старую дорогу легко теряют.

– Альберт Павлович! – Вика умоляюще смотрела на него.

Опираясь на стол, Шаликов с трудом поднялся. Вика подала ему стакан.

– Только ради вас, – пьяно сказал он, чокнулся с ней. – И ради вас, – чокнулся с Григолом, вернее не чокнулся, а приставил свой стакан к его стакану и сказал, старательно выговаривая: – Не он выиграл войну, а вы, дядя Григол, поэтому я не могу вам отказать, вы имеете полное право.

Все следили, как, запрокинув голову, он медленно пил. Когда он кончил, облегченно зашумели, дядя Григол приобнял Шаликова, похлопал его по спине.

– Спасибо, – сказала Вика.

Шаликов тупо уставился на ее пухлое свежесвепеченное личико.

– А в общем и целом стыдно, – сказал он.

К ним подсел Шота.

– Хорошо, что уважение сделал Григолу, молодец. Посмотри, сколько у него наград. Нельзя Григола обижать. Он отчаянный, видишь, спас товарища Сталина. Не побоялся.

Некоторое время Шаликов механически кивал, вдруг притянул к себе маленького Шота

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
за отворот заношенного синего мундирчика:

– Зачем вы его прячете в яму, а? Он же там сидит как дезертир. Месяцами ждет, ждет... Вы же его унижаете. Подумать только, генералиссимус, а? Все боятся, он боится, вы боитесь...

Шаликов чуть не плакал, сейчас ему было жаль всех, и Сталина, и этих стариков.

– Нельзя еще, – виновато сказал Шота. – Рано. На весь край один монумент остался. Люди приходят, смотрят. Вспоминают.

Шаликов отмахнулся.

– Лучше спойте нам еще.

Потом он сказал, обращаясь к памятнику:

– Так тебе и надо!

Потом его увели спать.

Проснулся он посреди ночи оттого, что Вика тормошила его. Шаликов открыл глаза, он лежал на диване в трусах, одежда его была аккуратно сложена на кресле. Светила луна. Вика в халате склонилась над ним.

– Мне страшно, Альберт Павлович, их там много.

Шаликов помотал головой, сел.

– Кого?

– Я видела, как они вылезают из-под земли.

– Кто?

– Да Сталины.

Шаликов стиснул голову.

– Не пойму, – сказал он. – Или мне это снится, или вам приснилось.

– Альберт Павлович, мне он в комнате виден. Можно, я у вас останусь, мне там страшно.

– Пожалуйста.

Шаликов лег, придвинулся к стене и мгновенно заснул.

Утром, по дороге в аэропорт, Гурам весело обсуждал вчерашний праздник. Сейчас история с памятником у всех троих вызывала смех. Шаликов представлял, как в институте он преподнесет эту историю, не было только конца, он все не решался расспрашивать Вику про ее ночное пришествие. Оказывается, поутру она искупалась в ледяной кипящей речке, теперь светилась свежестью и была совершенно не похожа на ту, что ему привиделась.

Гурам оставался, он привез им на дорогу фрукты и вино. В самолете Вика подложила себе под щеку подушечку, устроилась поудобнее, задремала. Вдруг, не открывая глаз, она сказала с тоской:

– Опять... Лезут и лезут из-под земли.

– Значит, вы действительно приходили ко мне, – сказал Шаликов.

Она взяла его за руку.

– Спасибо вам, я так хорошо спала.

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– За чем же дело... – игриво начал Шаликов, но Вика оборвала его:

– Не надо. Я все думаю, как много их еще там, повсюду.

– Это я виноват. – Шаликов натужно улыбнулся. – Потому что я согласился, уступил, выпил в его честь.

Вика усмехнулась тоже принужденно.

– Ничего, это пройдет.

Он утешающе погладил ее руку.

– Конечно, все пройдет, пройдет и это.

Он любил повторять эту фразу из Библии и произнес ее, как всегда, беспечно, весело, но получилось фальшиво.

Пациент

Памяти Игоря Ч.

Ночью он упал с кровати, а ему показалось, что он скатился в воронку от снаряда. Ему надо выбраться, иначе он замерзнет. С ним однажды это уже было на фронте под Мгой. Он стал карабкаться обратно на кровать.

Земля осыпалась под руками. Стены воронки были крутые. Дело было ночью. Шел обстрел. Немцы били из тяжелых орудий. Сто пятьдесят. Или двести двадцать. Он выбрался и дал команду стрелять. Он знал, откуда они бьют, они били из Александровки. Но связь прервалась.

Ему было за семьдесят, никого из ребят уже не осталось – Санька спился, Серега стал мафиози, сидел. Единственный, кто еще действовал, это Паша, их полковник. Он был моложе их всех. Теперь он большая шишка, Павел Афанасьевич первый зам, или вице...

Пашка орал на него за то, что нет связи, грозился отдать под трибунал. Тогда майор Медведев тоже стал кричать на него, потому что рация дерьмовая, аккумуляторы сели, никто не заботится, а эти штабные крысы играют со своими блядьми в карты.

С трудом, кляня его, санитарки втащили на кровать. Сестричка Таня в сердцах дала ему по рукам, чтобы он не лапал ее. Она поставила решетку на кровать, подтерла за ним лужу, назвала его засранцем.

А в медсанбате у него была Люда. Он мчался к ней на мотоцикле, и они уходили в какой-то чулан, в конце коридора, где хранились тюфяки.

Назавтра приехал к нему Павел Афанасьевич. Его сопровождал главврач и начальники больницы и какие-то холуи.

Поговорили. Паша сидел, а те стояли позади. Паша спросил, что ему надо. Ничего не надо. Но Пашка настаивал – может, в другую палату, двухкомнатную, может, какое особое питание? Под накинутым на плечи накрахмаленным халатом блестел-переливался костюм сизого голубиноного цвета. Попросить, что ли, такой роскошный костюм? Смех его не понравился Паше.

– Ты чего смеешься? – строго спросил он.

Он долго смотрел на Пашу, на его отвисшие щеки, на рыжие пятна на руках. Тоже скоро умрет.

– Зря ты упрятал Медведева в штрафбат, – вдруг сказал он Паше. – В сущности, за то, что он назвал тебя трусом.

– О чем ты? Какой Медведев?

Паша переглянулся с главврачом.

– Не помнишь? Врешь, помнишь! Костя Медведев, начальник связи, он с тобой еще стреляться хотел, а ты, ты...

Вызвали сестру, она сделала ему укол. Все еще сидели, о чем-то говоря между собой. Он, успокоенный, лежал, слушал, как бухает сердце. Госпиталь горел. Раненые прыгали из окон... Йодистое дыхание утихающего боя...

После отъезда Паши к нему посадили дежурить медсестру Таню. Под вечер он умер. Взял ее за руку, погладил, отвернулся к стене и умер.

Она вернулась с дежурства усталая. Рассказала матери, какой он тяжелый, как она собирала его вещи – книги, бумажник, грязные носки, бритву и что из бумажника выпала фотография, где он был молодым, в форме, с усами, похожая на ту, что у матери в альбоме. Мать достала альбом, они нашли ту фотографию, там тоже был лейтенант, тоже с усиками, но вроде не тот. Таня сказала, что все они в той старинной форме, с пилотками, похожи друг на друга. Мать ушла к себе в комнату, и Таня слышала, как она тихонько плакала.

На рынке

В мясном ларьке-сарайчике полутемь. Висит голая лампочка, света ее не хватает. За прилавком мясник – плечистый, пухлый, с широкими рыжими бакенбардами. На голове у него беретик. Покупателей нет, мясо уже распродано, несколько жирных шматков лежат, прикрытые целлофаном. В углу играет транзистор. За дощатой стеной шумит предвечерний рынок. Мясник жует жвачку, слушает байки рыночного грузчика по прозвищу Куся. Лицо у Куся фиолетовое, испитое, безвольное.

В ларек входит старуха в толстых роговых очках, с плетеной сумкой. Она достает оттуда сверток, разворачивает, там куски мяса.

– Что же вы мне положили, вы извините, помните, я была утром, я же вас просила, мне больному человеку бульон варить.

– Ну и что? – спрашивает мясник.

– Тут одни кости и жилы. А этот кусок подложили тухлый. Понюхайте.

– Вы когда брали?

– Сегодня брала, в десять утра.

– В каких условиях он хранился, откуда я знаю, – говорит мясник. – У меня товар свежий. Смотреть надо было.

– Разве так можно. Я плохо вижу, – женщина обращается к Куся. – Не разглядела, а дома видно, и цвет у него плохой.

– Бабуся, из костей самый лучший бульон, – говорит Куся.

Старуха вглядывается в него.

– Зачем же вы защищаете? Вы мне замените мясо, а то я жаловаться буду.

– Кому? – интересуется мясник.

– В газету напишу, – неуверенно говорит старуха.

Мясник и Куся смеются.

Старуха держит в руках развернутый пакет с мясом, руки у нее дрожат.

– Значит, на вас управы не найти.

– Слушай, старая, я не люблю жалобщиков, терпеть не могу, со мной надо по-хорошему, – мясник выдувает изо рта белый пузырь, который растет, растет и лопається.

Старуха вздрагивает. Мужчины хохочут.

– Да что ж это такое, – женщина оглядывается, говорит тихо. – Жулье! Что же вы творите. Это ж бесправие.

– Обзывать не надо. За оскорбление вас привлечь можно, – строго говорит мясник. – Обращайтесь в дирекцию рынка. А доказательства у вас есть?

– А это что! – женщина потрясает пакетом, оттуда падают кости, но она уже не обращает внимания. – Гниль! Это же ваше мясо!

Куся хохочет, хлопает себя по бокам.

– Ну, бабка, ты даешь! А кости чьи?

Старуха распрямляется и неожиданно кричит скрипучим сильным голосом:

– Грабители! Совести нет! На ком наживаетесь!

Мясник тоже кричит, Куся забавляется скандалом.

Они не замечают, как в ларек, подпрыгивая, вбегают девочка, лет десяти, бледненькая, с портфельчиком в руках, тощие рыжие косички ее завязаны белыми бантами. Услышав крик, она замирает, глаза ее перебегают от старухи к мужчинам.

– Как вы смеете! – вдруг произносит она. Старуха обрадованно поворачивается к ней.

– А кто ж они? Он не в первый раз. У него и обвес!

– Ты чего мелешь! – встревоженно гаркнул мясник и покачал головой. – Обижаешь меня, бабуля. У меня весы в пломбе. Так что просим прощения.

По тону мясника и по тому, как Куся направился к ней, старуха, что-то учуяв, вглядывается в девочку.

– Никуда я не пойду. Я свое требую, девонька. На, понюхай, что они мне сунули, – она подносит девочке к лицу мясо. – Нюхай, нюхай, не нравится?

– Ты что расшумелась, – говорит Куся, берет ее за плечи, подталкивая к выходу.

– Убери руки, бандит! Видишь, что творят? – старуха вцепилась в девочку. – Ты посмотри на них, мы со стариком в минимуме живем и тут нас... на ком наживаетесь!

Она хватается девочку за руку.

– Частники! Нате, подавитесь своим воровством, – она сует ей в карман свой мокрый сверток. – Хапалы, на, на.

Мясник выбегает из-за прилавка.

– Ты что ж к ребенку лезешь. Ребенок причем?

– Пусть знает!

– На тебе мясо, бери сколько хочешь. Знаю я вашу публику!

– Не надо мне ничего, – уже исступленно кричит старуха. – Подавись! Подавитесь вы все нашей жизнью ограбленной, – она замахивается сумкой на девочку, бьет ее, бьет Кусю. Девочка пятится к дверям, открывает их спиной, выбегает.

– Эх вы, женщина, мать называется, – бросает старухе мясник и выскакивает за дверь.

Он бежит сквозь рыночную толпу, длинный клеенчатый фартук хлопает его по ногам.

– погоди, Аллочка, стой!.. Подожди.

Народ расступается, не понимая, почему он гонится за девочкой.

– Украла, – догадался кто-то. – Мясо стащила. У нее из кармана торчит.

Кто-то свистит ей вслед, кто-то кричит не всерьез, озорно.

– Держи ее!

От этих криков девочка мчится, не разбирая дороги, лицо у нее слепое, портфельчик она обронила, она бежит через трамвайные пути, машины гудят, пронзительный визг тормозов.

– Остановите ее! – кричит мясник.

Его не слышно, он задыхается, хрипит.

Девочка сворачивает налево, еще налево, влетает с разбегу в кучу песка на панели, где идут дорожные работы. Падает, рыдает. Когда отец прибегает сюда, у него уже нету сил, он опускается рядом с нею на песок. Он держится за сердце, потный, испуганный, слушает, как судорожно всхлипывает дочь. Не может ничего сказать ей, так схватило сердце.

Встав на колени, девочка замечает в кармане курточки кости, выбрасывает их с ужасом. Ее колотит, слезы возвращаются к ней, она плачет навзрыд, горько, облегченно. Отец не решается прикоснуться к ней и слушать плач тоже не может. Слезы и пот мешаются на его одутловатом лице. Они сидят рядышком на куче песка и плачут. Любопытные останавливаются, постояв, молча идут дальше.

Мои командиры

За всю войну начальства большого я не встречал, видел раза три командира дивизии и один раз командующего армией, а все больше имели мы дело с ротными и батальонными командирами и, конечно, комиссарами, политработниками. Фронтовая жизнь бросала из части в часть, редко кому удавалось провоевать всю войну в одном полку. Был я в пехоте, в укрепрайоне, в авточастях, в танковых войсках, попадались командиры хорошие и плохие, те, кто запомнились, и те, кто не оставили никакого следа. И вот, оглядываясь на военные годы: прежде всего появляются передо мною два комбата, два командира батальона и два комиссара, все из разных частей, люди разные, разной судьбы, но чаще других вспоминаются именно они, с любовью и благодарностью. Соединяет их единственное – все они из первых двух лет войны. Почему так получилось, случайно ли это? Думаю, что не случайно, есть одна причина, о которой скажу позже, далась она мне не сразу, и, чтобы понять ее, прежде придется рассказать об этих людях.

Первый комиссар был из нашей Кировской дивизии народного ополчения. Был он с завода Жданова, Александр Ермолаев, мужчина богатырского сложения и силы, человек прямодушный, веселый, не умеющий унывать. В военном отношении он был так же наивен, как и мы, рядовые. Ополчение состояло из добровольцев, которые шли на фронт с заводов и фабрик, в большинстве необученные, воодушевленные лишь желанием защитить Родину, дать отпор вероломно напавшему врагу. Ополчение сыграло свою решающую роль, сорвав планы гитлеровских войск, измотав их в боях на подступах к Ленинграду.

Отношения людей в ополченских полках были своеобразные, воинская дисциплина причудливо соединялась с отношениями вчерашних мастеров, инженеров, рабочих, служащих. Саша Ермолаев работал на заводе в парткоме. Его все знали. Стрелял он плохо, но зато держался храбро. Когда мы выходили из окружения, он тащил на себе пулемет. Мы шли лесами, болотами, нас осталась от полка небольшая группа, и он принимал на себя все тяготы командования. Однажды мы встретились в лесу с группой танкистов. Машины их были подбиты, и они из остатков полка и окруженцев организовали партизанский отряд. Командовал им майор. В кожаной тужурке,

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru подтянутый, уверенный в себе и, видно, опытный командир. Он предложил нам присоединиться к их отряду. Продвижение немецких войск, по его расчетам, должно было привести к тому, что Ленинград уже взят или будет взят в ближайшие дни и идти туда бессмысленно, надо бить немцев здесь, в спину, в немецких тылах, переходить к партизанской борьбе. Уговоры закончились приказом. Майор был старшим по званию. Мы заночевали в расположении отряда. Ночью нас собрал Саша Ермолаев. Он сказал, что Ленинград не мог пасть. Немцы не вошли в Ленинград. Он говорил это уверенно, как будто получил сообщение по радиации. Конфликтовать с майором он не хотел и предложил нам продолжать путь к Ленинграду. Мы осторожно выбрались из лагеря, к утру были у Грузино, это под Чудовом, и через два дня явились в Ленинград, в штаб своей армии. Откуда у него была эта твердая уверенность? Откуда он находил в себе силы тащить нас сквозь ночные леса, в обход, вытаскивать из уныния и отчаяния? Правда, мы его тоже вытаскивали. Огромный, тяжелый, он проваливался на болотах, и мы дружно тянули его, подавая приклады винтовок.

Судьба свела нас после войны. Саша Ермолаев, пройдя всю войну, остался верен Нарвской заставе, Ленинграду. Он прошел большую трудовую жизнь, работал на разных должностях, но до конца, до последних дней своих оставался комиссаром в самом лучшем смысле этого слова – источником оптимизма, добра, энергии... и, я сказал, того мудрого здравого смысла, к которому так хорошо было прибегать в сложные минуты жизни.

И хоронили мы его на Красненьком – на кладбище Нарвской заставы, где лежат поколения путиловцев, судостроителей, потомственные питерские мастеровые люди.

Воинский салют прогремел над могилой Саши Ермолаева. Должность комиссара полка составляла в его биографии всего полтора года, но почему-то она стала определяющей во всей его долгой и славной трудовой и воинской жизни.

Вторым моим комиссаром был Медведев. Печально, что имя-отчество его забылось. Мы жили с ним в одной землянке. Он был парторгом, а потом политруком нашей роты. Это уже было на Ленинградском фронте, в стрелковой 189-й дивизии. Блокада только начиналась. И голод только начинался. Медведеву было лет под сорок. Перед войной он был вторым секретарем райкома где-то в Карелии. Это был человек неразговорчивый и странно скромный. Все, что он делал для бойцов, он скрывал, избегая личной благодарности. Для него самым важным были самые простые вещи – наладить почту, кухню, добыть полушубки, он учил мастеров печь пирожки в землянках, растапливать их сырыми дровами, потому что сушняка у нас не было. Потом он учил нас, как надо есть все более легкую пайку нашего хлеба и все более жидкую похлебку. Он научил нас не бояться голода. Это вскоре помогло нам, и весьма существенно. И все это он умел делать незаметно, почти без слов. Иногда он начинал мне рассказывать, что будет в их районе после войны, какие они будут строить дома и что разводить в озерах. Было в нем что-то отцовское: заботливо-хозяйское и строгое. На него никто не обижался, его боялись и любили. Однажды одного молодого поймали на воровстве, он воровал хлеб во взводе, обратились к Медведеву – что с ним делать. Он сказал без раздумья, уверенно – выпороть! И выпороли. Это было так естественно, хотя сейчас, вспоминая об этом, я испытываю некоторое смущение. И сомнение, что ли... Погиб он в 1942 году при артобстреле, похоронили его на полковом нашем кладбище, теперь там нет отдельных пирамидок, а поставлен общий обелиск с одной безымянной надписью.

...Потом я воевал в отдельном артпульбате укрепрайона.

Справа от нас было Пулковое, позади Ленинград, впереди занесенные поля до самого Пушкина. Немецкие окопы сходились с нашими местами совсем близко, метров на семьдесят. Мы слышали немецкую речь. Они – нашу. Они заводили патефон и играли нам русские песни, играли «У самовара я и моя Маша». И звали переходить, сдаваться. Ленинградская блокада сказывалась и на фронте. Голод нарастал. Дистрофия наносила ощутимые потери, увозили в госпиталь опухших, ослабевших. Батальон наш занимал большой участок обороны, километров пять. А во взводах временами оставалось по восемь, десять человек. Поэтому мы все видели, знали нашего комбата и общались с ним. Его звали Павел Сильвестрович Литвинов. Батальон был отдельный, и командир наш был тоже как бы отдельный. Ни у кого из соседей не было такого командира. Высокий, стройный, красивый, он, хотя имел звание всего лейтенантское, выделялся выправкой кадрового военного. Не лейтенантской бравастью, а той подтянутостью, что вошла в плоть и сказывается не в щелканье каблуков, а в четкости всего поведения. Тем более что каблуков не

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru было, были валенки, была лютая зима 42-го года, от морозов пулеметы отказывали, часовых приходилось менять через каждые два часа.

Литвинов уже успел принять участие в финской кампании, получил орден Красного Знамени, ранение, побывал в окружении – словом, изведаль весь набор военного лиха.

Сквозила в нем некоторая насмешливость, снисходительная, парящая над нашими страхами, над отчаянием перед нехваткой снарядов, бойцов, оружия. Никто не видел его растерянным или выведенным из себя. В бою, в наступлении и когда немцы прорвали нашу оборону и подошли к КП, он был одинаков, сохранял невозмутимо ровное, вежливое обращение. Действовало это удивительно успокаивающе. Ходы сообщения у нас были не всюду, по ровной местности куда-нибудь в боевое охранение нужно было ползти и ползти. После этого он появлялся у нас в окопах в полном блеске, никакая грязь почему-то не приставала к нему, к его белому полушубку, к его подворотничку. Нам стоило великого труда оттирать снегом, хотя бы с лица, едкую копоть, он же всегда был выбрит, свеж, умыт. Землянки наши освещались чадно-желтым светом горящего провода. Печки дымили, топить их можно было только ночью, спали мы не раздеваясь – не буду перечислять пакости окопного быта, я о них лишь затем, чтобы понять то подбадривающее чувство, которое вызывало у нас появление комбата. Мы все были влюблены в него, и дело было не только, разумеется, во внешнем его командирском виде. Постепенно, случай за случаем, мы убеждались в незаурядном его воинском таланте. По тому, как точно он умел выбирать позицию пулеметчикам, артиллеристам. По особому чутью, с каким предупреждал вылазки противника, ведь в конце концов на огромном участке обороны, когда в ротах оставалось по пятьдесят, а клету и по тридцать человек, приходилось чуть ли не маневрировать. Комбат заставлял нас, невзирая на физическую слабость, копать и копать траншеи. Мы оценили это позже, когда начались проклятые белые ночи и тьма не могла укрыть подносчиков патронов, старшин, связистов... Без ходов сообщений потери у нас были бы ужасны. И без того не хватало орудийных и пулеметных расчетов. Тем не менее лейтенант пробовал даже наступать. Время от времени он проводил небольшие операции, чтобы улучшить наши позиции. Для нас эти операции были большими памятливыми сражениями. Он хитро выстраивал всю нашу оборону на перекрестном огне станковых пулеметов. Он был прирожденный полководец. Не могу сказать, чтобы он отличался отчаянной смелостью: он пригибался в мелком окопе, падал, вжимаясь в землю, при минном обстреле, никогда не бравировал, осторожничал, и подозреваю, что делал это подчеркнута, чтобы нас научить тому же. Кстати говоря, он был неуязвим. В какие только переделки ни попадал, под какой огонь – казалось, все огибало его. Более всего его заботила сохранность солдата, жизнь солдатская. Как он учил нас ползать, маскироваться, – он терпеть не мог военачальников, которые старались воевать «любой ценой». Боюсь, что это немало мешало быстро продвигаться наверх. Зато как много значили его качества для каждого из нас. Он помог нам в самое тяжелое время восстановить веру в наших командиров и военачальников.

После войны я разыскал его. Он вышел в отставку полковником. Приобрел себе полдомика на берегу Чудского озера, в тех местах, которые он освобождал на пути в Эстонию. Там он работал на земле всю весну и лето. Зимой в Ленинграде, в день Красной Армии, он приглашал к себе бывших своих бойцов, офицеров. Это святой для нас день. В этот день он по-прежнему наш командир, мы по-прежнему его подчиненные.

И еще один комбат вспоминается мне – Захар Коминаров. По характеру был он совсем иным – горячим, страстным человеком, увлекающимся, мог вспылить, мог схватиться за голову от отчаяния и досады, легко воспламенялся и гас, но в одном он был сходен с Литвиновым – тоже был великолепный специалист, знаток своего дела. И не просто командир ремонтно-восстановительного батальона, но одаренный, прирожденный командир. Мы восстанавливали разбитые автомашины и танки. Не хватало запчастей, оборудования, нужно было все время что-то придумывать, заменять, находить, и лучше других это умел Коминаров. Командиры рот, инженеры, каждодневно признавали превосходство его знаний и творческого дара. Он умел и показать, как надо делать, как можно выйти из положения. В нем совмещался инженер и командир, пример, который потом, когда я перешел в танковые части, так часто вспоминался мне. Если ему надо было что-то отстоять, доказать, кому-то помочь, вытащить каким-то новым способом машину с нейтралки, он становился бесстрашен. Он не боялся никого и ничего. Не боялся ни противника, ни своих начальников. Его хотели забрать в штаб, в бронетанковое управление – он отказывался. Ему нужно было практическое дело, он любил свой батальон, и

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
продвижение по службе его не манило...

Наступательные бои, танковые части, новые машины «ИС», марши по дорогам Прибалтики – там и в 1943-м, и в 1944-м было много счастливого, горького, были другие командиры и комиссары, с которыми входили в освобожденные города, навстречу цветам и объятьям. Но почему душа сегодня, спустя сорок лет, так тянется к тем первым моим командирам, к тем незадачливым месяцам войны и блокады, окружения, отступления, к нашей неумелой молодой войне? Может, потому, что в те дни требовались великие усилия духа, веры, воли. Они свершили эти усилия, сделали из нас солдат, научили воевать. Может, потому, что из стойкости тех командиров и комиссаров закладывалась будущая Победа. Может, потому, что так трудно было тогда, так легко было впасть в уныние...

Я всегда вспоминаю с благодарностью и низким поклоном о каждом проявлении человечности и доброты в ту суровую пору. Вот почему мне хотелось так, хоть кратко, газетно, отдать должное своим командирам и комиссарам, именно этим – 41-го, 42-го годов. Они помогли мне тогда, и память о них помогает и по сей день...

1986

Излечение от ненависти

Из всех кладбищ самые мертвые – воинские. Из всех могил самые усопшие – солдатские. Ряды одинаковых каменных крестов расходятся вширь и вглубь. Ни эпитафий, ни портретов, никаких аллегорий. Как шли строем на параде, так и уходят в вечность. На кладбище Ольсдорф советские воины лежат под каменными плитами. На каждой высечены имя, фамилия, дата рождения и смерти. И тоже шеренга за шеренгой уходят вдаль. Плиты не заросли, не покосились, прочно и точно лежат полвека и будут лежать всегда, обеспеченные вечным уходом. Так гласит государственный закон.

Кладбище Ольсдорф под Гамбургом – самое большое в Европе, а может, и в мире. На нем, кроме гражданских, 50 тысяч воинских могил. Огромный красивый парк, долины, рощи, отдельные захоронения – югославы, поляки, чехи, венгры. Здесь я увидел кладбище русских солдат Первой мировой войны. Такое же заботливо ухоженное, как и нашей Отечественной войны. Все умирали по-разному – кто в поле от мины, кто при бомбежке, кто в госпитале, кто в лагере военнопленных. Мертвецы все одинаковы. Рядом такие же захоронения немецких солдат. Трава, плиты, кресты. Никакой разницы. Кто с кем воевал, на этих кладбищах не понять. Их не разделяют ни мундиры, ни знамена. Они все жертвы войны. Всем один почет. Поучительное кладбище.

Я вдруг подумал, что мог тоже лежать здесь, в чужой немецкой земле, под такой же плитой, с датой 1941, или 1942, даже 1944. Тысячи пуль и осколков, просвистевших вокруг меня, могли привести сюда. Для моего молодого спутника Владимира Яковлева это не могло быть вариантом судьбы, для него это было историческое погребение. Но и он невольно сравнивал с нашими кладбищами.

Мы возлагали с ним венки к обелискам в память жертв войны и фашизма. Мы клали свои венки рядом с венками немцев и вместе с ними стояли, обнажив головы, под холодным ноябрьским ветром. Германия отмечала дни поминовения. Впервые в них участвовала русская делегация.

Мы ехали и шли от захоронения к захоронению. Их родные не могли сюда добраться, и мы за них должны были всех посетить и всем поклониться. Надписи на мемориалах удрученно похожи на наши. «Жертвы, что покоятся здесь...» – и далее те же слова о чести, о вечной славе и памяти, скорбные призывы к миру. Некоторые почти слово в слово повторяют эпитафии наших мемориалов. Тот же тесаный камень, те же венки ложатся и на немецкие могилы, и на советские.

На обычных кладбищах мы разглядываем памятники, каждое надгробие любопытно, здесь однообразие лишь подчеркивает глубокий смысл смерти, которая всех соединила, чтобы снова показать бессмыслицу войн. Вечером к нам в гостиницу пришел господин Хамен Кёльн. Он положил перед нами карту Новгородской области: Старая Русса, Парфино, Пола, Лычково. Красной звездочкой там были отмечены

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Туганово и Демьянск. Показал цветное фото: высокий гранитный валун, на нем доска с надписями по-русски и по-немецки: «Вечный покой павшим солдатам Второй мировой войны 1941–1945».

Этот памятник, результат его хлопот, поставлен нынче там, где шли бои, в этом месте были немецкие захоронения, там был похоронен брат жены господина Кельна. Несколько раз они с женой ездили в Туганово, договорились с новгородской областной организацией ветеранов войны и за счет немецкой стороны соорудили совместный памятник. Восстановление немецких захоронений вызывает возмущение у некоторых патриотов, причем чаще не у самих участников войны. Это старые чувства, когда-то и я, придя с войны, тоже считал, что незачем сохранять на нашей земле кладбища оккупантов. Их сносили ожесточенно, жажда возмездия горела в душах миллионов вдов и сирот.

За полвека мы многое узнали и поняли. Немцы стали не те, и мы тоже. Участники войны, бывшие противники, навещают друг друга, едут в Германию и к нам. Со странным чувством разглядывал я фотографии. То были места моего детства, неузнаваемо изувеченные войной. Парфино, Лычково... Неподалеку я воевал, мы держали фронт в тяжелое знойное лето 1941 года. Мы не успевали хоронить убитых. Да и много позже, после войны, под Ленинградом наши военные кладбища мы не сумели сохранить. Убитых нашего артпульбата в ту блокадную зиму 1941–1942 года, когда мы держали оборону под Пушкином, мы хоронили с трудом, часами долбили каменно-мерзлую землю, ставили им дощечки в изголовье. Весной чернильные надписи размыло. После войны, когда я пришел на то место, кладбища не было, торчала железная пирамидка, на ней номера частей, наших соседей и наш 292-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. Ни имен, ни дат – ничего не осталось, кроме этой железки, все запахали. Можно подумать, что у нас не хватает земли. В Гамбурге сенаторы, бургомистр и прочее руководство вместе с дипломатами два дня потратили, навещая одно захоронение за другим, возлагая венки, поминая погибших. И мы, сопровождая их от кладбища к кладбищу, стали понимать, что нельзя, нехорошо посетить одних и не прийти к другим. Кое-где заставляли мальчиков и девочек из добровольного Союза по уходу за кладбищами, они проволочными щетками чистили надгробные плиты. Шагая под промозглым ветром, я пытался представить наше начальство в подобном хождении.

То ли дело могила Неизвестного солдата, любимое детище наших правительств. Удобно, под боком, никаких хлопот. Приехать, постоять с постным лицом, поправить ленты на венке – и привет. От силы пять минут на всю церемонию, так, чтобы не опечалиться всерьез, ни о чем таком грустном не задуматься.

«Никто не забыт, и ничто не забыто» – слова Ольги Берггольц, высеченные на камнях Пискаревского кладбища, были прежде всего призывом, мольбой, обещанием. С годами их превратили в успокаивающее заверение, ибо на самом деле на месте имен все чаще водружаются общие обелиски – не так хлопотно. А уж о погибших в ГУЛАГе и говорить нечего. Ни одного нашего лагеря, ни пыточной камеры не оставили в память об ужасах сталинского режима.

Культура – это не компьютеры, не презентации, есть куда более глубинные ее истоки, это, если угодно, кладбища и память о всем стыдном и позорном, что было.

В Германии 8400 кладбищ воинов и жертв фашизма. Выступая на кладбище, я думал о том, что вот как получилось: спустя полвека после разгрома фашизма в Питере, который мы отстояли и куда не пустили фашистов, все же появились фашисты – наши, отечественные. Выросшие за эти годы внуки тех, кто лежит здесь. Но говорить об этом было слишком больно, да и как объяснить такое.

Я вдруг вспомнил, что Толстой начал писать «Войну и мир» в 1862 году, то есть спустя пятьдесят лет после окончания Отечественной войны 1812 года. Юбилей пятидесятилетия Россия справляла пышно, звучали патриотические речи, хвастливые победные воспоминания. Толстого, однако, занимала не Победа, а совсем иное. «Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости при чтении патриотических сочинений о 12 годе?» – признавался Л. Толстой в наброске предисловия.

В первые послевоенные годы, когда цензура изымала из наших книг все связанное с трагическими месяцами начала войны – отступление, бегство, окружение, сдача в плен, – мы ссылались на Толстого. Для цензуры, для партийных идеологов Толстой

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru не являлся указующей инстанцией. Для них убедительней был М. А. Суслов.

Сравнивать нашу Великую Отечественную с той Отечественной им не хотелось: получалось, что разгромить врага можно было и без коммунистической партии, без комиссаров, особистов и Сталина.

Понадобились еще десятилетия, чтобы я понял, какое нравственное открытие совершил Толстой в романе.

Чем была армия Наполеона для России? Армией захватчиков, оккупантов, они вторглись в страну без предварительного объявления войны. Наполеон был объявлен антихристом. На борьбу с французами поднялся народ, началось партизанское движение.

«Народ возненавидел иностранцев и обижал их на улицах, равно как и тех, кто говорил на иностранных языках, а не по-русски» (А. И. Михайловский-Данилевский).

Для русского человека 1812 года, не знавшего ничего о фашизме, французы, пришедшие в Россию, были завоевателями, злодеями, проклинаемыми за кровь и ужас войны, которые они принесли на русскую землю. Восприятие было схожее с тем, что испытали мы в 1941 году. Великая Отечественная заняла в советской литературе большое место, можно сказать, подавляющее, как главное достижение советской системы.

За полвека была создана огромная библиотека военных романов. Лучшие писатели писали о войне. М. Шолохов и Алексей Толстой, А. Платонов и В. Некрасов, Э. Казакевич и А. Бек, В. Кондратьев и Г. Бакланов, К. Симонов и В. Быков, Д. Гусаров и Ю. Бондарев. Военная тема пополняется и по сей день, достаточно назвать романы В. Гроссмана «Жизнь и судьба», В. Астафьева «Прокляты и убиты», Г. Владимова «Генерал и его армия». Военная тема давала возможность приоткрыть бесчеловечные стороны сталинского режима. Война – дарованный историей конфликт. Кроме смертельной схватки, литература сумела показать борьбу, что шла внутри армии. Противник подразумевался как данность, несущая смерть, как безусловный знак зла. Немцы, с которыми мы воевали, не имели различий, существовал безликий фашист, и он подлежал уничтожению. Во всех газетах, от дивизионных до фронтовых, сверху печатался один и тот же лозунг: «Смерть немецким оккупантам!» Ненависть считалась необходимым подспорьем войны. Пропаганда, как делается в каждой войне, раздувала ее, тем более что расстрелы мирных жителей, виселицы, политика фашистского геноцида давали этому чувству достаточно фактов. Любая война, пусть самая справедливая, быстро вырождается в отвратительное мстительное смертоубийство.

Ненависть к фашизму перешла в общую ненависть к немцам и прочно въелась в народную душу. Когда в повести Вячеслава Кондратьева «Сашка» наш солдат проявлял симпатию, человечность к немецкому солдату, это поразило. А ведь повесть появилась в 1979 году, тридцать пять лет прошло с окончания войны! Немецкие солдаты пребывали в сознании русских людей поголовно грабителями, насильниками, убийцами. В моих военных повестях немцы были отмечены той же огульной солдатской непримиримостью, которая позволяла видеть в них лишь мишени. Никак я не мог воспринять в них тех людей, с которыми позже подружился. Стоило начать писать, и поднималось застарелое чувство ненависти. Я считал, что это нормально, без этого не будет правды о войне, что это и есть главная правда и более высокой правды быть не может. Ничего общечеловеческого не связывало меня с гитлеровским солдатом. Пережив Севастопольскую кампанию, офицер Толстой понял, что и русская, и французская кровь, проливаемая под Севастополем, – кровь «честная, невинная». Через несколько лет в одном из вариантов к роману «Война и мир» он решает мучившее его противоречие на новом, более высоком уровне:

«Когда с простреленной грудью офицер упал под Бородином и понял, что умирает, не думайте, что он радовался спасению отечества, и славе русского оружия, и унижению Наполеона. Нет, он думал о своей матери, о женщине, которую он любил, обо всех радостях и ничтожестве жизни, он поверял свои верования и убеждения: он думал о том, что будет там и что было здесь. А Кутузов, Наполеон, великая армия и мужество россиян – все это казалось ему жалко и ничтожно в сравнении с теми человеческими интересами жизни, которыми мы живем прежде и больше всего и которые в последнюю минуту живо предстали ему». [Толстой Л. Полн. собр. соч. Т. 13. М.: ГИХЛ, 1949. С. 73.] Толстовское отношение к солдату на войне настолько не сходилось с постоянной идеологической принудой, в атмосфере которой шла наша

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
жизнь, что я просто не прочитал этого в романе. А ведь на руках у меня умирали мои товарищи и, корчась от боли, звали не к мести, не дойти до Берлина, просили что-то передать жене, плакали от жалости к себе, о своей молодой жизни, проклинали войну.

Толстой сумел подняться и перешагнуть общепринятые воззрения, казенную ложь о том, ради чего воевали солдаты в Крымскую кампанию и в 1812 году. Мало этого, он сумел различить во враге того же страдающего, ослепленного человека. Военная часть «Войны и мира» лишена ненависти к французам. Для Толстого французские солдаты не оккупанты, не захватчики, они жертвы бессмысленности человеческой истории. С христианским сочувствием Толстой приглядывается к ним, они оказываются людьми с достоинствами и пороками, с юмором и глупостью, ничуть не хуже и не лучше русских. Можно вспомнить сцены в романе, когда автор осуждает жестокость русских к французским солдатам и наоборот, мародерство тех и других.

Пьер Безухов в горящей Москве спасает наполеоновского офицера. Его поступок – естественное движение души, Пьер совершает его без сомнений, ибо они столкнулись не на поле боя и француз для него человек, прежде всего человек. Любопытно, что француз не распадается в благодарности к спасителю, не удивляется тому, что сделал это русский человек. Как всегда, Толстой выворачивает ситуацию как бы наизнанку: офицер уверен, что Пьер – француз, только француз способен на такое, разубедить его невозможно. Он так же заморожен, для него немыслима человечность русского, то есть врага: война лишает людей взаимопонимания.

Гений Толстого был очищен его постоянными поисками жизни во Христе. Очищен, или возвышен, или окрылен – не знаю, как точнее сказать. Наверное, все же разница между нашествием Наполеона и нашествием Гитлера на Россию есть. Фашизм – учение, наиболее опасное для человечества, исполненное ненависти и непримиримости. Как учение оно не подлежит амнистии. Оно и сегодня также остается губительно. Это учение, но люди, оболоченные фашистской пропагандой, были жертвами в руках правителей, они истекали кровью и погибали, страдая и ужасаясь своей смерти. В последний смертный миг они молились о спасении так же, как и все люди.

Искусство наше, да и миропонимание дошло до сравнения обоих режимов – гитлеровского и сталинского. Оба уничтожали во имя своей идеи миллионы невинных людей, жаждающая подчинить себе все народы. Немецкие военнопленные, побывавшие в русском плену, в большинстве своем прониклись расположением к русским. Они встречали милосердие, сердечность, жалость к себе, к отдельному человеку. В гамбургской ратуше я долго осматривал выставку фотографий жизни немецкого обывателя в 30-е и 40-е годы. Убогие комнатки, бедная утварь, очереди за хлебом, безработные, нацистские митинги, война, бомбежки, опять голодные очереди, разруха. Существование, пронизанное страхом, обманом, бедностью. До чего ж все знакомо.

Понадобился полувековой юбилей войны, чтобы постигнуть урок Толстого.

...Возлагали венки немцы и мы, к своим и чужим, к мемориалу жертв Второй мировой войны, к тем, кто убивал меня, и к тем, с кем я вместе воевал. Мои танкисты не поняли бы меня... А может, давно уже поняли, раньше нас. Во всяком случае, я не испытывал смущения перед ними, я был свободен от ненависти. Печально, конечно, что так поздно – слишком долгие были пути к этому кладбищу.

Не многое сбылось

К этому времени я был в Ленинграде, демобилизованный, был отозван с фронта как энергетик, работал в Ленэнерго. Набережные Невы были переполнены, кипели возбужденными ликующими толпами. Пели, орали, играли аккордеоны, гармошки, никогда я не видел столько счастливых и столько плачущих от счастья лиц, не видел такой открытости питерцев, обычно сдержанных, замкнутых. Незнакомые обнимались, целовались. Меня наперебой угощали самогоном, брагой, пили, не отказываясь, и не хмелели. Военных качали, я носил еще танкистскую кожанку, гимнастерку, и меня схватили качать. Кому-то я подарил свою фуражку, мне совали в карманы конфеты, значки. Какие-то смельчаки танцевали на гранитных парапетах над невиской водой. Степень радости и счастья в исстрадавшемся Ленинграде была особенно высокой.

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Празднично блестяла Нева, и солнце светило ярче обычного, тот счастливый день до самого конца остался во мне драгоценным украшением на много лет.

Праздничные огни Победы, казалось, будут светить нам всегда. Но вскоре началось нечто странное: в 1946 году сняли выплату пенсии за ордена. Деньги шли маленькие – в месяц 15 рублей, это за Красную Звезду, за Красное Знамя платили на десятку больше. Все же получалось кое-какое подспорье нашему тощему бюджету. Ликвиднули, ничего не объясняя. Постановление было из тех, что не публикуются. Прошел еще год. 23 декабря 1947-го отменили выходной в День Победы, день уже не праздновался, как раньше, ни салютов, ни фейерверков в прежнем виде не подавалось. Торжественных заседаний также. Как пояснил мне один партначальник, человек осведомленный: вы, мужики, сильно заноситься стали, одернуть вас надо.

Похоже, он повторял слова, что циркулировали наверху. Перед этим еще Г. К. Жукова сняли с должности заместителя министра обороны, услали командующим в Одесский военный округ.

День Победы отмечать не перестали. Упорно собирались, хотя горечь росла. Исчез мой приятель Володя Кудряшов, безногий, обморозился на Ораниенбаумском пяточке, передвигался он на деревяшке, самокаты их называли, пел на Мальцевском рынке. Инвалидам подавали щедро, болела за них душа. Однажды безногий на самокатах и «самоваров» – это тех, у кого ни ног, ни рук, – выслали из города, говорили, на Валаам – чтобы вида не портили.

В День Победы собирались на площадях, в скверах, у каждой дивизии было свое место. Выставляли плакаты – такой-то полк, госпиталь, бригада. Надевали свои ордена, медали, гвардейские значки, нашивки за ранения. Тут же выпивали, приносили огурцы, грибочки, а то шли в закусовые. С Марсова поля мы спешили на площадь Стачек застать своих ополченцев. До позднего вечера отмечали встречи, объятые родственной нежностью к саперам, медикам, к тем, кто нас спасал.

Гуляй, братва уцелевшая,
Эх, что, что, благо есть за что,
Недобитые, контуженные, уже ненужные.

Именно ненужность, она все чаще воротила свою холодно-чиновную морду. Селили в общежитиях, на работе места заняты, фронтовикам льгот не доставалось, ни добавок к пенсиям, ни квартир. Мой товарищ Герман Гоппе, изувеченный под Кенигсбергом, инвалид первой группы, за боевые свои заслуги не имел ничего.

Без почета, без благодарности уходили из жизни те, кто спас Отечество.

Перестали носить ордена: нескромно, говорили фронтовикам.

Только спустя двадцать лет после войны, в 1965 году, отметили солдат медалью в честь Победы.

В тот год комбат Павел Литвинов собрал нас в Доме офицеров. Радость встречи перемежалась жалобами на тяжелое житье-бытье, жили плохо, в коммуналках. Блокадные беды, землянки, обстрелы, голодухи вспоминали с гордостью, те невзгоды были понятны. Тяжелейшая наша война виделась оправданием жизни.

Вышло глупое, если не хуже, постановление: участникам войны, инвалидам войны полагалось все без очереди. Всюду стояли очереди – за продуктами, в парикмахерских, поликлиниках. В многочасовых очередях женщины накидывались на ветеранов, которые размахивали своими удостоверениями, жалкая эта привилегия ожесточала и тех и других. Молодые, не стесняясь, выкладывали: «Победители! Да без вас мы бы сейчас пили баварское пиво, а не эту мочу!»

История войны бесстыдно обросла враньем. Сперва объявили цифру потерь в войне 6 миллионов, спустя годы Министерство обороны вынуждено было изменить явно фальшивые данные, цифру неохотно увеличивали, она достигла 20 миллионов. Ныне сообщили – всего 27 миллионов: 20 миллионов – гражданское население и 7 миллионов – военные потери. И к этим цифрам доверия нет, расчеты не приведены, соответствующие архивы засекречены.

Ни разу ни Сталин, ни Хрущев, зная о страшных потерях, не помянули погибших за Родину. Даже будучи в Ленинграде на юбилее освобождения от блокады, Брежнев не

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru выразил соболезнования городу, который потерял свыше миллиона своих горожан и защитников за 900 дней блокады.

Одно из самых тяжких и постыдных последствий войны – это отношение к военнопленным. Плен у нас карался как преступление, хотя в плен попадали целыми дивизиями, а то и армиями (можно вспомнить 6-ю армию или 26-ю). Считается, что пленных было не меньше пяти миллионов. Их подвергали репрессиям, они пребывали отверженными, неправыми. В той же ФРГ пребывание в плену засчитывалось солдатам в общий стаж. В русской царской армии «воинские чины, взятые в плен и не бывшие на службе у неприятеля, по прибытии из плена получают от казны жалованье... за все время нахождения в плену». Русская армия строго соблюдала эти правила и в Русско-японскую войну, и до нее.

Наши военнопленные претерпели голод, нечеловеческие условия в немецком плену, они не были защищены Женевской конвенцией, а после Победы многих отправили опять в лагеря, уже наши. И снова голод, унижение, каторжные работы. В наших лагерях немецких военнопленных кормили лучше, чем советских, и обращались с ними гуманнее.

Все 60 лет система секретности архивов плюс цензурные препоны мешали создать честную историю Великой войны. Критично оценить действия наших войск, показать, как на самом деле выглядит репутация некоторых военачальников, которые воевали числом, а не умением, губили без счета солдатские жизни ради своих званий и наград.

Наша военная история не позволяла себе отдать должное искусству противника, блестящим операциям Манштейна, Роммеля, Гудериана. Писали только о провалах их планов, об их неудачах.

К сожалению, ненависть к фашизму ослепила и нашу литературу. Единственное произведение, какое я могу припомнить, где в немецком солдате автор прежде всего увидел человека, была повесть В. Кондратьева «Сашка».

Замечательная наша литература о войне создала прочный памятник народному подвигу. Нам, однако, не хватает толстовского понимания войны: французы для Толстого были не только оккупантами, но и людьми, которые страдали, боялись, такая же кровь текла у них из ран, они так же мучились, умирая. Сейчас заговорили о насилиях, жестокостях наших солдат в Германии. Каждая война рано или поздно становится грязной. За годы войны нас ожесточили разрушенные города, сожженные наши деревни, виселицы, насильно угнанные в Германию на каторжные работы сотни тысяч. Душа вопила о возмездии, но это было совсем другое, чем холодная жестокость нацистов к советским людям, отношение как к низшей расе, с которой можно делать что угодно.

...В тот День Победы на Марсовом поле я застал всего несколько растерянно бродящих ветеранов, женщин из банно-прачечного отряда. Подошел ко мне старик с кошелкой, приехал он из Волхова, надеялся встретить кого-нибудь из своей 53-й армии. Никого. У меня тоже не было здесь ни одного однополчанина, может, их вообще не осталось. Присели мы на скамейку, достал он пол-литра, стаканчики, дивного волховского сига, специально припасенного к празднику. Выпили за помин тех, кто пал, тех, кто приходил сюда и больше не придет. Он был в 1942 году радистом, потом артразведчиком. Всегда можно было отличить тех, кто сидел на передке, стрелял, от тыловиков. Вспоминали всякую всячину, немецкие гранаты, дурные немецкие сапоги со стальными гвоздями, из-за которых ноги мерзли, потом разговор зашел про американский яичный порошок, тушенку, перекинулся на джип – отличная машина, запросто тащила 76-миллиметровую пушку; мне вспомнилась американская стереотруба, невесть как она досталась батальону, ленд-лиз – начисто забылось это слово. Со Вторым фронтом союзники тянули, мы их поносили последними словами, зато их консервы, витамины, глыбы шоколада, который надо было колоть для раздачи, поддержали нашу шаткую голодно-цинготную жизнь.

– А плащ-палатку помнишь? – спросил разведчик.

– А вот танки М-3 были дерьмовые, – сказал я. – Поролоном внутри обивали, он горел со страшной вонью.

– Все равно спасибо им, – сказал разведчик. – Сколько погибло конвоев...

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Мы выпили в память конвойных кораблей.

– Полушубок мне достался, белый, – сказал разведчик, – без него бы поморозился.
Я вспомнил английскую шинель, зеленую, которую добыл себе старшина.

– Ленд-лиз... – сказал я. – Наш вождь и учитель не хотел за него благодарить.

– Давай не будем на него валить. После него тоже могли вспомнить.

– Считается, что мы кровью расплатились за все.

Он подумал и сказал:

– Так-то оно так, да ведь не обязаны они были.

– Это точно...

– Ты в Германии был? – спросил он.

Был, и совсем недавно был и там раздумывал о том, что победить мы победили, а вот чувства превосходства нашей жизни нет. Победили для других, освободили от нацизма ту же Германию, а сами для себя чего добились? Свободы? Благополучия?

Ничего этого я не стал говорить. Как рассказать о чувстве вины, которое не отделить от Победы, научило ли это чувство нас чему-нибудь?

– Никого не осталось, – сказал я. – Ты да я. Кончилось наше время.

– Знаешь, я все думаю, – сказал разведчик, – как это мы сумели победить, ума не приложу.

Мы с ним посмеялись и допили остатки.

Немецкий лейтенант и его дочь

Даниил Гранин через 60 лет прочитал письма Хейнера Гейнца, воевавшего против него на Ленинградском фронте

В 2004 году меня пригласили в Берлин на открытие выставки, посвященной блокаде Ленинграда. Выставка была небольшая, но тщательно сделанная: много неизвестных мне фотографий блокадного города, черный рынок, льготное снабжение начальства, документы командования вермахта, неведомые мне рисунки художника Я. Рубинчика.

Там были примечательные гитлеровские обоснования блокады: «...Мы доводим до сведения всего мира, что Сталин обороняет Ленинград, как крепость. Таким образом, мы вынуждены рассматривать город со всем его населением в качестве военного объекта». Были донесения командиров немецких дивизий, разведгрупп о том, что творится в голодном городе. Впервые я увидел портреты немецких генералов армии, корпусов, фамилии, смутно памятные мне с фронтовых лет. Немецкие листовки, брошюры..

Самым же интересным были письма лейтенанта Хейнера Гейнца, командира пулеметной роты. Они располагались примерно напротив участка нашего батальона. Местами нас разделяло сто-полтораста метров. В тихую погоду доносилась немецкая речь. Иногда немцы без всякого радио кричали нам: «Рус, иди к нам булку кушать!» – и поднимали над окопом наколотую на штык булку. Была зима 1941 года, затем весна 1942-го – самое голодное, страшное время. Мы ползали ночью по заснеженным полям на нейтралке, пытаясь выковырять из мерзлой земли мороженые листья капусты, кочерыжки. Все это время лейтенант аккуратно, каждые три – пять дней писал домой жене. Он писал с начала своей военной службы – с 1935 года, в походе во Францию, затем с начала похода в Россию. Сохранилось всего 125 писем, из них выставлена была только часть – около двадцати.

Обычно нас привлекают сами экспонаты, мы редко задаемся вопросом, откуда они

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru попадают на выставку. Но тут мне показалось любопытным именно их происхождение: ведь это частная переписка, как они сохранились и как их разыскали... Я вспомнил свои треугольники, написанные карандашом (откуда взяться чернилам в землянках). Несколько из них чудом сохранила жена через бомбежки, эвакуации, пожары, – карандашный след давно стерся, мало что можно разобрать. Тут же все выглядело как нельзя лучше: и почтовая бумага, и почерк, и чернила. На фотографии лейтенант предстал молодым, крепким, привлекательным, чистенький мундир сидит на нем ловко, без единой складки, сшитый на заказ.

«Вчера пала Одесса, наши войска стоят у ворот Москвы. Иван на исходе своих сил. Нас ожидает спокойная зима», – пишет он 17 октября 1941 года.

Он не сомневается, победа для него очевидна. Я попытался вспомнить свой октябрь 1941 года. Вспомнилось только общее расплывчатое ощущение – страх за Москву, ужасный страх, и что потом будет с Ленинградом, и все это на фоне совершенно необъяснимой уверенности в нашей победе.

«Поляк и француз сдаются, когда их положение безвыходно. Но русского же надо забивать до смерти».

Через две недели тем же ровным почерком лейтенант Гейнц сообщает супруге: «Петербург окружен и голодает. Ежедневная норма хлеба составляет лишь 100 граммов. Мясо и масло давно кончились. У нас время есть, если сегодня не хотят сдаваться, то через четыре-шесть недель уж точно».

Он в полном восторге: «Гению фюрера все подвластно. Мы должны быть ему вечно благодарны».

Командование вермахта докладывало: «С помощью артиллерии и авиации мы разрушаем город, насколько это возможно».

Это была правда. С утра над нами летели на город бомбардировщики. Эскадрилья за эскадрильей. К полудню начинался обстрел, воздух наполнялся мягким шелестом снарядов, они пролетали невидимые, огромные, калибра 150, не меньше. В одни и те же часы, когда на улицах народу было больше, когда шли за водой, шли с работы.

«Иван постепенно смиреет, стреляет лишь изредка, его пища становится все хуже... Поляк и француз сдаются, когда их положение безвыходно. Англичанин бьется до самого конца, но русского же надо забивать до смерти».

Вермахт отлично знал, что происходит за кольцом блокады. Командование спокойно уничтожало голодом население. Наблюдали, ждали, пока вымрут. Голод был лучшим оружием.

Письмо в ноябре 1941 года: «После последней попытки прорыва русские заметно поутихли. Порция хлеба солдат сокращена до 400 граммов. Перебежчиков становится все больше. Но народ упрям и стоек, так пусть они там и умирают с голоду».

Декабрь 1941-го: «Когда город падет, несомненно, половина жителей вымрет».

Февраль 1942-го: «Хотя мы не рассчитывали на скорое падение Петербурга, эти сволочи сдаваться не намерены, но они вынуждены будут... медленно умирать от голода».

А через несколько дней: «Дорогая моя Ленекен! Ты хотела узнать, как нас кормят: каждый день 50 г. масла, 120 г. колбасы, 125 г. мяса, еще рис, горох, макароны. Кроме того, натуральный кофе, чай, шоколад, сигареты, консервированные фрукты, конфеты и другая вкуснятина».

В кожаных перчатках он наблюдал в полевой бинокль с позиции под Пушкином, и ему, и нам был виден на горизонте город, видно, как поднимались в небо черные столбы дыма, город выедали пожары.

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
«Погода стала более сносной, а Иван слабеет, на нашем участке резервов у него больше нет».

Действительно, у нас в батальоне на два километра осталось человек сто – сто двадцать, из них многие стали доходягами. Невозможно никому объяснить, как мы могли чистить окопы, ходы сообщения от снега, как несли службу, таскали пулеметы, патронные ящики, снаряды.

«Итак, дело идет к концу. Хотя мы не рассчитывали на скорое падение Ленинграда – эта сволочь сдаваться не намерена, – но они вынуждены будут оставить нас в покое и медленно умирать от голода. Через месяц начнется потепление, и тогда дело будет сделано. Постоянно с любовью думаю о тебе, моя хорошая Ленекен. Твой Гейнц».

Голодная смерть сотен тысяч горожан его не смущает, он ее торопит, скорей бы они передохли. Не все офицеры вермахта так настроены, командующему группой «Север» генерал-фельдмаршалу фон Леебу претит мысль, что он командует войсками, которые не столько воюют, сколько заняты «полицейской операцией» удушения гражданского населения. Он неоднократно признает это в своем дневнике. Кончается тем, что он подает в отставку.

Осмотрев выставку, гости собрались в зале, выслушали рассказ о концепции выставки, и затем произошло то, из-за чего я принялся за этот рассказ: выступила дочь покойного лейтенанта Гейнца Инге Франкен.

Он погиб 5 мая 1942 года от ранения в голову.

Траншеи у немцев и у нас были полны ледяной воды, земля еще не оттаяла, и немцы, и мы то и дело попадали под обстрел. Обстоятельства гибели Х. Гейнца вряд ли отличались особенностями, но в семье установился культ героя, исполнившего свой долг. Мать регулярно читала дочкам письма отца с фронта. Читала, а потом перечитывала. Инге росла с гордостью за отца. Память об отце была для нее священна. Но иногда она замечала, что мать, читая, делает пропуски. После смерти матери она решила перечитать письма. Мешал готический шрифт. Она освоила и этот шрифт, и отцовский почерк. И тогда образ отца стал открываться перед ней заново, он менялся.

Как это происходило, не знаю, мне следовало бы потом, после всего, расспросить фрау Франкен подробнее. Она рассказывала сдержанно, выступление давалось ей нелегко, наверное, поэтому я не решился к ней обратиться. Немолодая, чуть сидящая, еще красивая женщина, она твердо вела рассказ, так что можно было представить, сколько ей стоило сил переосмыслить свое отношение к отцу, свое понимание прошлого. Годы ушли на внутреннюю работу ее души. Можно лишь догадываться, как труден был путь, проделанный дочерью, чтобы отстраниться от своего отца. Что заставило Инге Франкен выйти к этому переполненному залу со своим признанием, беспощадным по отношению к отцу да и к матери? Отдать на выставку те его письма, где он, бывший учитель, руководитель местного гитлерюгенда, предстает убежденным нацистом, разделяющим планы уничтожения «Ивана», славян Восточной Европы...

Какие права у совести, почему она может заставлять?

Впервые я услышал такое публичное откровение, сдержанно-беспощадное, в сущности, она попрощалась с тем отцом, которого любила, которым гордилась, росла с ним с детства, прощалась и с той собой. Она держалась не прокурором, не творила суд, отречение доставляло ей боль, зачем она это сделала? Зачем?

Она кончила говорить. Наступила тишина.

Ее рассказ нельзя назвать покаянием. Это было нечто иное, выстраданное, что не умещалось в груди, рвалось, и мы все в зале вдруг соприкоснулись с этим жгучим, обращенным к нам из сокровенной глубины чувством.

Ее мужество заставляло оглянуться на собственную жизнь. А собственно, чего ради? Сразу появлялся этот вопрос. Ее чувство можно было считать совестью, но название

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
ничего не объясняло. Какие права у совести, почему она может заставлять? Пример Инге Франкен невольно породил вопрос за вопросом, ведь куда лучше жилось бы ей, если бы это чувство не мучило ее, если бы его отбросить, не считаться с ним. Так нет ведь. Живет в нас какой-то судья, оценивает наши поступки, как говорится, совесть-то с молоточком. И постукивает, и наслушивает, и никак не заглушить ее. То есть, конечно, можно ее зажать, и все будет нипочем.

То, что произошло с дочерью лейтенанта Гейнца, хочется понять как нравственное стремление, дарованное всем как бы свыше, а не принадлежность сугубо личную, свойство врожденное, подобное таланту. Вроде оно должно быть у каждого, так хочется думать. Марксисты доказывали, что природа совести социальна: у бедных одна, у богатых другая, разная у демократов и анархистов. Если бы это хоть что-то объясняло. На самом деле она грызет человека, не спрашивая его партийность, религию. Никто толком не знает, что есть совесть, может быть, она свидетельствует о существовании души, она ее принадлежность, она показывает уровень ее развитости.

Жить с послушной совестью хорошо, да умирать плохо. Однако ныне не принято к смерти готовиться, день наш – век наш, тем более что совесть уговаривать научились, и совесть отдельного человека, а то и целого народа. В свое время у нас партийная идеология отбрасывала совесть – все делалось «во имя государства» – ответственность с личности была снята, человека избавляли от угрызений совести, и он охотно шел на эту сделку.

Бывает, когда-нибудь совесть очнется и предъявит права, а бывает, что и нет. Но, слушая дочь лейтенанта Гейнца, я думал, что все же возмездие настигает не отцов, так детей, и через внуков зло должно как-то уничтожаться, иначе оно поглотит мир. Часто нам видится, как зло торжествует, и надолго, побеждает несправедливость, подлецы, преступники благоденствуют безнаказанно до конца своих дней. Все так. И все же зло относительно, в то время как добро абсолютно. Рано или поздно добро, казалось бы, бессильное, наивное, оказывается неодолимым, совесть, с которой никто не считался, берет свое, и она выносит свой приговор. Так произошло и с дочерью лейтенанта Хейнера Гейнца спустя 62 года после его гибели на Ленинградском фронте.

2005

Признать вину отца и не отречься

В «Российской газете» были опубликованы заметки Даниила Гранина «Немецкий лейтенант и его дочь». Речь шла о том, что дочь убежденного нациста, воспитанная на его почитании как героя, в зрелом возрасте обнаружила, как ее отцу, командиру пулеметной роты, не терпелось истребить жителей блокадного Ленинграда. И она публично осудила его злодеяния.

Столь редкое нравственное явление, подмеченное писателем, – чувство обостренной совести – вызвало множество вопросов. Имеет ли право дочь судить отца, жившего по законам своего времени? Или она должна чувствовать себя виноватой по той причине, что он был нацистом? Что способно заставить работать душу человека?

Однако большой читательской дискуссии на эти темы не получилось, если не считать несколько звонков и реплик. Почему? Разговоры о нравственности не модны, не «прикольные», не рациональны, наконец. А если и возникают, рождается подозрение, чья же это пиар-акция. Интересуемся банками, нефтедолларами, квартирами, депозитами, инфляцией и прочей экономикой. Плачем в кинозале или в театре, уплатив за очищающие эмоции изрядную сумму. Бескорыстие, душевные муки – почти фантом. Ну, черствеем, но думать и об этом некогда. Общаемся на бегу, лучше по мобильнику с дешевым тарифом. И как раз в этот момент Гранин произносит: «Добро может уничтожить зло только тогда, когда это лично решит страдающий и совестливый человек».

Звонок писателя в разгар лета застиг врасплох, вырвал из суеты: оказалось, история о дочери лейтенанта Хейнера Гейнца получила неожиданное продолжение. Фрау Инге Франкен захотела повидаться с автором очерка, и Даниил Гранин принял немецкую гостью с ее родственниками на даче в Комарове.

После публикации очерка я получил из Берлина письмо от моей героини Инге Франкен – единственный отклик. В письме, в котором она просила разрешения приехать ко мне, Инге писала: «После обнародования его мыслей и поступков [Речь идет о ее отце. – Д. Г.] я не освободилась от своей любви к отцу. Скорее, наоборот, только сейчас я начинаю чувствовать какое-то дуновение любви к нему и могу допустить это чувство. После того как я достоверно и без прикрас знаю, что он думал и как он поступал. Когда я была молодой, любовь к такому отцу с моей стороны была абсолютно невозможна, только ненависть и гнев за то, что он оставил свою жену и детей ради фашистской идеологии. Публичное выступление принесло мне облегчение, и сейчас я живу гораздо лучше, чем с умалчиванием, ретушированием и фальсификацией фактов».

Я писал, что Инге отказалась от отца. Я был во власти ее выступления. Горечь признания, эмоциональная сила ее слов – все воспринималось однозначно, как итог. На самом деле работа ее души продолжилась. Раз начавшись, работа эта не могла остановиться, пробиваясь в глубины своего нравственного чувства. Возможно, в ней возникла жалость. Жалеть – скорбеть сердцем над участью, над заблуждениями, над малодушием, да мало ли. Отсюда и «дуновение любви», и возвращение к отцу, но уже к другому – к преступнику, осужденному ею самой. Жалость не снимает вины, не побуждает оправдывать. Но ведь и осужденный достоин скорби и милосердия.

Любопытно, что понятие «милосердие» плохо переводится на другие языки, оно чисто русское. Итальянское слово «misericordia» имеет религиозную составляющую, в немецком «Barmherzigkeit» отсутствует чувство сострадания, обязательное в русском «милосердии». Однако и по-русски не просто изложить ту работу, какую одолевала душа Инге Франкен: от детского культа отца-героя к осуждению отца-преступника, родного человека, в обстоятельства жизни которого она, дочь, много лет старалась вникнуть.

Сыновья Лысенко, Жданова, Маленкова, Берии опубликовали свои воспоминания. Каждый из них хочет обелить деятельность своего отца. Маленкова показывают как жертву Берии и Жданова, Берию как жертву Хрущева и т. п. Ссылаются большей частью на рассказы своих отцов. Желание защитить репутацию отцов вопреки всем данным истории, документам оборачивается против авторов. Берия и Маленков были организаторами «Ленинградского дела», по которому расстреляны руководители Ленинграда, а тысячи других невинных людей были сосланы в лагеря. Я встретился с Г. М. Маленковым, когда он уже стал пенсионером, и меня поразило, что он ушел в религию. Может быть, хотел отмолить свои грехи, не знаю. В таком случае книга его сына не восстанавливает чести отца, а сводит ее на нет.

Детям виновников репрессий кажется, что они защищают родительскую честь, выглядит же это как желание обрести вместо преступников-родителей родителей заслуженных, однако нравственность и выгода – разные категории.

В записках одного из учеников Лысенко он изображен как примерный семьянин, непьющий, не антисемит, трудолюбив, добр. На уровне микроэтики достоин уважения. Наверное, и он, и Маленков, и другие были хорошими отцами. Но существовала макроэтика того же Лысенко. На этом уровне он беспощадно расправлялся с несогласными с ним генетиками, использовал свою власть, чтобы изгнать их с работы, способствовал репрессиям, физическому уничтожению. На его совести гибель Николая Вавилова. Таков был уровень его макроэтики. Оба уровня совмещаются в одном человеке и часто путают его образ. Сыновья хотят воспринимать отцов на уровне микроэтики, не видеть их злодеяний, которые творились всего лишь в борьбе за власть и, конечно, во имя святой идеи.

Мужество выступления Инге Франкен, ее нелегкая, выношенная честность убеждали в том, что она подвела черту, рассчиталась со своим детским заблуждением, с семейным культом. Что она осудила отца по всем законам справедливости.

На самом деле приговор хотя и был окончательный, но старый спор между справедливостью и милосердием продолжался. На стороне справедливости закон, политика, потребность возмездия, да мало ли. Милосердие – оно одиноко, оно потребность совести, никому не видимое глубокое нравственное чувство. Все это понятия зыбкие, казалось бы, необязательные. Справедливость не отменяет ни чувства сострадания, ни милосердия.

Может быть, Инге почувствовала свое старшинство. Сегодня она много старше своего

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
отца и смогла увидеть тогдашнего молодого лейтенанта иначе. Через опыт истории послевоенной Германии, денацификации, становления демократической жизни. Она относится к нему, умудренная печалью своих лет. Не знаю, может, в сердце ее появилась жалость к отцу-жертве, продукту нацистской идеологии.

Какой, вероятно, резонанс вызвало бы у нас выступление, подобное заявлению Инге Франкен, одного из потомков бывших организаторов советских репрессий. Конечно, и в Германии это было явлением единичным. Хотя Инге пишет: «Я знаю и других людей, идущих по похожему пути. Их, конечно, не большинство, но иногда встречаются».

Мы любим говорить о нашей духовности. На самом же деле проблема совести, одна из самых больных, сегодня не вызывает в обществе ни отклика, ни интереса.

фрау Франкен сообщила мне также, что она приехала не только ко мне, но и поедет в Старую Руссу разыскивать могилу своего отца. Я спросил, что ее побудило это сделать. Вопрос не деликатный, но мне важно было услышать ответ. Ясно ответить она не смогла, и это тоже было важно. формулировать, объяснять такие порывы души трудно, почти невысказуемо. Осудить отца ей было проще. Тем более что согласие на это дала ее 91-летняя мать. Налицо были нацистские взгляды Хейнера Гейнца, его презрение к русским недочеловекам. Куда мучительнее было сделать следующий шаг – взять на себя ответственность за него.

Вот тут Наталья Шергина, с которой мы обсуждали эту ситуацию, резонно спросила: «Позвольте, это ведь родители должны отвечать за детей, а не наоборот».

Как сказать. Никто не отменял понятие чести рода, чести фамилии. Честь заключается не только в защите репутации предков, но и в честности. Только кажется, что это понятие устарело, уверен, что оно возрождается и полностью возродится. Столько породил сталинский режим следователей-пытчиков, неправедных судей, доносителей, кто из них усовестился, кто думал о том, каково придется их детям. Осознавать зло, причиненное нацистом, приходящимся тебе родным человеком, трудно, стыдно. Тут легче всего промолчать. Или сменить фамилию. Чтобы признать вину отца и принять ее на себя, не отрекаясь от него, требуются честность и мужество совести. Она, Инге, ни в чем не виновата, виноват ее отец. Суд творят потомки. Дочь немецкого лейтенанта осудила гитлеровскую идеологию, которую проводил в жизнь ее отец, оказавшийся к тому же, как я узнал при встрече с ней, участником геноцида еврейских детей в Европе. Не просто осудила, но написала книгу об этих событиях «Против забвения». Приехав в Питер, первым делом отправилась на Пискаревское кладбище. Мемориал произвел на нее сильное впечатление. Вина отца предстала наглядно – зелеными холмами, где лежат сотни тысяч блокадников. Голодную смерть ленинградцев ее отец приветствовал.

Ей было два года, когда он погиб на Ленинградском фронте. Конечно, она его не помнит. Собственной дочерней любви, сотканной из детских воспоминаний, у нее быть не могло. Образ отца был создан из его фронтовых писем, рассказов матери и родных. В этом смысле Инге легче было осознать его в качестве нациста отстраненно.

Обнародовав злодеяния отца, она, как мне кажется, не опозорила чести семьи, а наоборот, подняла ее. В какой-то степени отмолила. А вот далее долг или сердце подсказали ей, что она должна направиться под Старую Руссу и попытаться разыскать его могилу. Действия противоречивые, не так-то просто их соединить. Как все это сосуществует в человеческой душе?

Германия проделала большую работу по денацификации общества. Культура, искусство страны этому способствовали. Перемены заставили людей, в том числе фрау Инге Франкен, задуматься. Но государство не может понудить человека на душевный труд. История Инге – это заслуга ее самой. Путь от осуждения к состраданию, к «дуновению любви» занял годы.

В самом конце нашей встречи произошло неожиданное: фрау Франкен сделала мне подарок. Она протянула мне кожаный футлярчик, аккуратный, совсем как новенький. Внутри была складная металлическая стопка, позолоченная, на вид тоже совершенно новенькая. Инге сказала, что это вещь отца, ее прислали вместе с похоронкой и другими вещами погибшего. Офицерская стопка, из нее Хейнер Гейнец пил шнапс, наверное, за скорую победу. Пил во Франции, потом на Ленинградском фронте, в какой-нибудь сотне метров от наших окопов. Мы пили воду из кружек, а то и из котелков. У меня ничего не сохранилось от фронтовой поры – ни одной вещи, ни

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru приличной фотографии, ни алюминиевой моей ложки, ни планшетки. Жалко. И вот теперь появилось нечто, оттуда, словно из потусторонней жизни. Странно.

«Вещь врага?» – спросила меня Наталья Шергина.

Пожалуй, нет. Для меня это все же вещь его дочери. Семейная реликвия? Не знаю, какой смысл дочь Гейнца вкладывала в свой подарок. Я беру в руки эту стопку и думаю о человеке, который там, в 1941–1942 годах, стрелял в меня, в которого я тоже стрелял. Мог ли он представить, что его дочь преподнесет мне эту его вещь? А затем я вновь и вновь возвращаюсь мыслями к фрау Инге Франкен, к истории нелегкого и долгого восхождения ее души.

Вблизи престола

В 1999 году мировая культура отмечает два юбилея: 250 лет со дня рождения Гете и 200 лет со дня рождения Пушкина. Оба гения схожи хотя бы тем, что значили они в формировании духа и самосознания своих народов. Не мое дело сравнивать их творчество, жизнь, взгляды. Меня заинтересовало другое.

Недавно, когда мне пришлось участвовать в разговоре на расхожую тему «Художник и власть», я вспомнил эпизод, вычитанный у Романа Роллана. В 1812 году в Карлсбаде встретились Гете и Бетховен. Во время прогулки произошла любопытная сцена. На аллее показалась императорская фамилия. Увидев их издали, Гете оставил руку Бетховена и отошел на край дороги. «Тогда, – пишет Бетховен, – я надвинул шляпу на самые брови, застегнул сюртук и, заложив руки за спину, стремительно двинулся в самую гущу сановной толпы. Принцы и придворные стали шпалерами, герцог Рудольф снял передо мною шляпу, императрица поклонилась мне первая. Великие мира сего знают меня. Я имел удовольствие наблюдать, как вся эта процессия продефилировала мимо Гете. Он стоял на краю дороги, низко кланяясь, со шляпой в руке. И задал же я ему головомойку потом...»

Сцена выразительна, хотя, возможно, Бетховен приукрасил ее. Но суть различного отношения к власти имущим она выражает. Бетховен замечает по этому поводу, что короли могут заводить себе ученых и тайных советников (имея в виду чин Гете), но они не могут «создавать великих людей, таких людей, чей дух поднимался бы выше этого великосветского навоза».

Поведение Бетховена мне всегда было симпатичнее, но позже я понял, что суждение мое поверхностно. У Гете была своя, немалая правда. Десять лет своей зрелой жизни Гете потратил, управляя Саксен-Веймарским герцогством; он занимался акцизом, финансами, рекрутскими наборами. Он был политиком на практике, старался что-то сделать, и это не прошло бесследно. Конечно, глупо считать Гете раболепным, скорее, он исполнял светские условности, от которых не был свободен. Политика, участие во власти – этим он купил себе условия работы. За все надо платить, он платил разочарованиями. Бетховен – бедностью.

Пятьдесят лет Гете прожил в Веймаре, окруженный секретарями, чиновниками, придавал блеск и славу двору герцога. Награждаемый орденами, званиями, стал духовным властелином чуть ли не всей просвещенной Европы.

В Веймаре, в доме Гете, – античные статуи, библиотеки, залы, кабинет, сад... Там я невольно припомнил Михайловское – место ссылки Пушкина, его несвободу, забытость, затерянность.

Царский двор хотел и даже старался приручить Пушкина, пока не убедился, что это невозможно. Не годился он для придворной службы. А ведь нуждался в хорошем жалованье, не чужд был тщеславия, не прочь был получать чины и награды. Но что-то мешало ему стать при дворе своим. Физиономия власти для Пушкина была не столько физиономией царя Николая, сколько холодно-бездушной высокомерной личиной Бенкендорфа.

Непричастность к власти была для Пушкина органична. Но это не было непричастностью к политике. Судьбы друзей-декабристов, повешенных и сосланных, мучили его всю жизнь. Странное чувство вины перед ними не отпускало его.

«Чтобы что-то создать, надо чем-то быть», – утверждал Гете. Этим, может быть,

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru определяет нравственную роль Пушкина в России. Влияние личности Пушкина так же велико, как влияние его поэзии. Почему так жадно припадает именно к истории его личности поколение за поколением? Ко всем подробностям его жизни, жизнелюбью его духа? В них находят если не ответы, то пример, так нужный в нашей духоте, приниженности, – пример свободного и цельного человека. И независимости от двора. Он, истый аристократ, не суетился у трона. Да, Пушкин зависел от политики, от власти, зависел, как все мы до сих пор зависим, – тягостно, унижительно. Таково, видимо, состояние граждан каждого недемократического общества. Но он восставал перед этой свинцовой значительностью:

Зависеть от царя,
Зависеть от народа –
Не все ли нам равно?
Бог с ними.
Никому отчета не давать,
Себе лишь самому
Служить и угождать;
Для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести,
Ни помыслов, ни шеи...

Часто приводимая эта цитата замылена, исчезает ее глубинный смысл. Между тем слова Пушкина до сих пор остаются вызовом нашим расхожим представлениям о роли поэта. Не должен он служить не только властям, но и народу. Не для него он пишет. Его взаимоотношения с властью проходят не через народ; если народ ждет призывов, лозунгов, то не дело поэта отзываться на эти ожидания. Долг поэта в самовыражении, в том, чтобы прислушаться к себе, к своим сокровенным чувствам – там может оказаться и гражданское чувство, а может его и не быть. Лучше всего, когда дух человеческий может выразить то, что отражается в нем. В Пушкине отражалось и время, и политические страсти: он не отшельник, гражданский дух его кипит. В «Памятнике» он признается: его поэтический долг – «милость к падшим призывать» и восславить Свободу. Нет противоречия с тем, чтобы «себе лишь угождать» и «милость к падшим призывать». Милосердие к декабристам – это жжет его душу, это и была служба себе, он этим угождал требованию своего гения.

Тоталитарная власть любит себя объединять с народом, преуспела в этом и советская власть, да и нынешняя тоже заверяет, что она лучшее выражение народных чаяний. Власть привлекает художника к себе, уверяя, что, служа ей, он служит народу. Она подкупает, дает звания, награды, делает его депутатом, тайным или явным советником. Часто, очень часто художник тешит себя надеждой, что ему-то удастся что-то существенное сделать для свободы, демократии. Так тешил себя Державин, стараясь стать советником Екатерины. У нее в советниках служили и Вольтер, и Дидро. Великие советники украшали императрицу, но несколько не воздействовали на ее политику.

Принято считать, что с Гете вопрос ясен, поскольку он служил, был тайным советником. Значит, совмещал творчество с властью. Но не будем упрощать. Да, Гете в этом несравним с Бетховеном или Шиллером. Но когда в 1792 году Гете попросили помочь новому союзу германских князей, он ответил, что считает невозможным объединение для совместной деятельности князей и писателей. Вкус власти быстро приелся Гете. Всеобъемлющий гений его устремился в науку, естествознание. Вера в благотворность участия в государственной власти оказалась беспочвенной. Смысл всякой власти сводился к корысти и упрочению несправедливости. Чем дальше, тем глубже становились его сомнения в счастливом исходе человеческой истории.

Не забудем, что и Пушкин тоже служил по министерству иностранных дел, получал жалованье и тем не менее так и не сумел почувствовать себя чиновником. Не был приручен, ждал минуты вольности святой и «нетерпеливою душой» внимал отчизны призыванье.

Гете и Пушкин – современники. Гете жил в сравнительно просвещенной Германии, Веймарский двор обеспечил ему благополучие, покой, его не терзала цензура, не мучили заботы о хлебе насущном, он счастливо путешествовал по Европе, был свободным гражданином. Недаром он считал себя космополитом – гражданином мира. Ничего этого не было у Пушкина, он был лишен всех этих прав и этой свободы. Для него власть воплощал жандармский корпус Бенкендорфа, сыщики, доносители, виселица, где качались пять повешенных друзей, царь – его личный жестокий

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
цензор, ссылка...

Если взглядеться повнимательнее в жизнь Гете, оказывается, проводимые им реформы даже в масштабах маленького Веймарского герцогства вязли в застойном болоте. В конце концов он понимал, что нельзя поступаться своим талантом ради попыток одолеть рутину существующего строя. Не раз он совершает бегство в культуру Востока, в античность, словно осуществляя заветную мечту Пушкина:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья –
Вот счастье! вот права...

Но здесь они сошлись в своих стремлениях, здесь слилось их понимание счастья и права поэта на свободу от всего: от властей, от гражданских долгов, право на дерзкое – угождать лишь зову своего гения. Это удалось Гете и не получилось у Пушкина.

Казалось бы, олимпиец – пример удачливого гения – пребывал в разладе с самим собою куда больше, чем Пушкин. Его гений недаром называли «насмешливым, презирающим мир». Жизнь Гете была полна компромиссов, но величайшее его произведение «Фауст» – бескомпромиссное постижение трагичности судьбы человека и человечества. Пушкина поразила именно смелость Гете в «Фаусте».

Надежды Пушкина на гуманное правление Николая I не оправдались, самодержавие оставалось верно себе, оно не слышало призывов поэта.

Гении нужны властям лишь для украшения правления. Их лучше держать в отдалении, как это было у Фридриха Великого и Екатерины Великой с Вольтером, у Наполеона с Лапласом. Ссылаются на Ломоносова, приставленного ко двору исполнителя льстивых од вельможам. Пушкин резко отверг подобные обвинения. «Ломоносов, – писал он, – не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей». И далее он приводил ответ Ломоносова графу Шувалову, который вздумал над ним подшутить: «Я, ваше превосходительство, не только у вельмож, но ниже у господ моего Бога дураком быть не хочу».

Да, Пушкин-поэт был независим, но он был и зависим от власти своим долгом милосердия. Что мог он? Лишь одно – снова и снова взывать к милосердию, уговаривать царя дать амнистию сосланным декабристам. В стихотворениях «Стансы», «Пир Петра Великого», в «Капитанской дочке» приводит благородные примеры. Все было напрасно. И он понял, успел понять тщетность своих надежд:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу.

Через сто с лишним лет другой великий поэт скажет еще резче:

Власть отвратительна,
Как руки брадобрея.

Поэту его гений указывает и путь, и компромиссы. Не нам судить, кто из них прав, мы можем лишь пытаться постичь их муки и свершения.

Первый министр Веймарского правительства – это создало для Гете обеспеченное положение. В натуре Гете соединились дарования художника и общественного деятеля. И все же разочарование во власти настигло его. Рано или поздно это должно было случиться. Так же как гений и злодейство несовместимы, так несовместны власть и творчество. Возврат к политике стал немислим, осталось только сожаление о годах, потраченных его гением на суетные дела маленького герцогства. Мы жалеем об этом больше, чем он. Так или иначе, художнику приходится сталкиваться с властью. У Пушкина была своя система отношений, у Гете своя, и власти были разные, и традиции. Величавый олимпиец, кумир Европы, увенчанный наградами, обласканный правителями, и другой – солнце русской поэзии, «гуляка праздный», вызывающий недовольство царя, никак не прирученный, Дон Жуан, остроумец, дуэлянт, никогда не дающий себя в обиду, слишком похожий на бунтаря, – оба они могли идти на сделки, бывали «среди детей ничтожных мира»

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru тоже ничтожными. Но не в творчестве! Поэзия освобождала их от всех обязательств, и страхов, и компромиссов, никакая власть не могла достать их в служении музам, в этом они сходились.

Посылать свет в глубины человеческого сердца, заставить вибрировать душу, проникать в нее путями, неведомыми никому, – ни одна в мире власть не могла сравниться с их властью.

Книга о великом человеке и великом ученом

Книга эта трудная и интересная. Признаться, такое сочетание давно не попадалось мне. Эту читаешь с неубывающим напряжением. Мысль автора не намного проще мысли его героя, а мысли его героя – результат огромных и долгих усилий ума гениального, работавшего над проблемами строения вещества, мира, а значит, и над проблемами философии.

Речь идет о книге Даниила Данина «Нильс Бор», о книге, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Книга эта значится под номером 582. Почти шесть сотен книг разных и о самых разных людях, казалось бы, использовали за десятилетия все возможности жанра. Среди книг серии было немало жизнеописаний великих умов человечества, и тут сложился свой набор приемов, тип книги, и не приходится рассчитывать на значительные новации. Тем не менее книга о Н. Боре получилась во многом новаторская.

Из биографических книг лично меня всегда занимали книги об ученых. О натурах созидательных, смелых, творящих, которым человечество обязано нынешней цивилизацией. Личность Нильса Бора отличается тем, что ему удалось открыть новую эру не только в физике и в современном понимании строения материи, но и в понимании законов существования этой самой материи. Его открытия порывают с прежней наглядностью представлений, с извечной опорой науки – так называемым здравым смыслом. Эти законы, которые выглядят фантастическими, даже безумными, изменили все наши представления о мире. Во всяком случае, так воспринимались открытия Нильса Бора его современниками.

О Нильсе Боре написано немало, в том числе и на русском языке. Но книга Данина особая, и прежде всего хочется говорить о ее особенностях.

У автора имелось несколько возможностей. Сама по себе биография Н. Бора не очень-то выгодна для биографического повествования, даже в сравнении с его коллегами Бор был физик-теоретик, его жизнь, во всяком случае довоенная, проходила в размышлениях и обсуждении этих размышлений. Месяцами, годами человек ходил и думал, подсчитывал и обговаривал что-то со своими коллегами, стучал по доске мелом, рисовал... Жизнь почти без событий. У физика-экспериментатора, у того, по крайней мере, существует событийность эксперимента, как, например, у Фарадея, у того же Резерфорда, о котором до этого написал книгу Д. Данин. Ставятся опыты, делаются приборы. Деятельность Нильса Бора была, что называется, кабинетной, без каких-либо внешних событий.

Автор мог рассказать о его научных достижениях, мог привести довольно большой научно-биографический фольклор, связанный с его научным окружением: занятные рассказы о взаимоотношениях людей, истории некоторых догадок, рассказать о шутках, о доброте и порядочности героя. Мог рассказать о быте, о методе работы, о событиях военных лет – там происходило многое... Однако автор выбрал вариант иной, более сложный и более существенный для того, кто хочет понять природу гения. Может, это не было целью, но так получилось. Шаг за шагом прослеживает он, как рождается мысль, догадка, как она растет, преодолевает препятствия. Он забирается в тайное тайных, святое святых, как бы в работу мыслительного аппарата своего героя. Он восстанавливает историю этой работы по логическим соображениям, по воспоминаниям коллег, документам, по фразам, наконец, по каким-то мало, на первый взгляд, значимым словам, оброненным спустя годы и десятилетия. На наших глазах проводится тщательная реставрационная работа. Надо восстановить не просто историю какой-то одной догадки, а стиль, манеру мыслительной работы, и не кого-нибудь, а одного из величайших физиков-мыслителей – Нильса Бора.

Такого рода работа требует от самого писателя восхождения. Подняться, чтобы быть

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
на уровне, чтобы не восхищаться, а понять или хотя бы представить.

Казалось осенением, озарением то, что произошло в 1912 году, когда Бор нащупал самый общий принцип построения периодической системы Менделеева, закон радиоактивного смещения и вообще понимание планетарной модели атома. Произошло это разом, эффективно, но писателя интересует, как могла возникнуть эта догадка, что ей предшествовало. Почему именно Бору она пришла, никому другому, и что впоследствии за этим – все это скрупулезно исследуется и описывается доказательно. Настолько, что веришь автору, даже там, где он уже не пользуется ссылками, документами. Разрывы между фактами – это не прямая. Пути и тропинки, по которым пробиралась боровская мысль, извилисты; работа писателя, который, как следопыт, идет по незаметным, занесенным временем следам героя, все более захватывает читателя. Мы погружаемся в мир боровских исканий, который лишь теперь, спустя многие десятилетия, стал проще и доступнее. Именно боровской мысли. Мы постепенно привыкаем к его индивидуальности, присущему только ему способу мышления. У каждого ученого своя диалектика, свои подходы к истине. Сама истина, очевидно, безлика. Она принадлежит природе, а вот то, как ее открыли, поиски ее, путь к ней, со всеми ошибками, заблуждениями, – в этом неповторимая личность ученого.

Можно вспомнить, как причудливо сочетались естественнонаучные взгляды Ньютона с его религиозными исканиями. Можно вспомнить, как с бесконечной терпеливостью перебирал фарадей всевозможные сочетания проводника и магнита, доискиваясь до связи между электрическими и магнитными явлениями. У Бора все это происходило на экспериментах отвлеченных, условных, догадки вызревали даже не столько в тайниках ума, сколько в тайниках души. Повествование показывает, с чего все началось, самые первые истоки, восходящие к первым самостоятельным научным работам, к увлечению философией датского философа Кьеркегора. Не прямо, а косвенно, по далеким ассоциациям создавались предпосылки будущих открытий Бора, которые привели к новой, неклассической физике. Теперь, конечно, обратным ходом проследить этот путь легче, тем более что автор мог пользоваться интереснейшими материалами, собранными историками науки во главе с Томасом Куном. Они выясняли, как все начиналось, спрашивая самого Нильса Бора и его учеников. Но Д. Данин проделал большую самостоятельную историческую работу, собрал новый фактический материал: работал в архивах Копенгагена, опрашивал ближайших сотрудников Нильса Бора, бывал в доме Боров, разговаривал с его родными, близкими. Тщательно, годами собирал он факты, изучал написанное Бором. Ценность нового материала книги несомненна. Еще большую ценность представляет работа по освоению этого материала. Все эти факты надо было осмыслить, понять, для того чтобы сложить из них историю творческой личности героя, образ творца. Это была уже работа не историка, а писателя. Начиная с 1912 года, неотступно, год за годом, выясняется, как формировалось у Бора новое понимание физики. Как он совершал революцию, производя титаническую работу строительства, как казалось тогда, абсурдной, безумной квантовой физики.

Физик-теоретик, Нильс Бор работал иногда на самой границе между философией и физикой. Это опасное соседство, для всякого менее мощного ума, обогатило и философию, да и сам Нильс Бор невольно соприкасался с коренными проблемами теории познания. Поэтому, когда читаешь книгу, невольно задумываешься над философским смыслом боровского принципа соответствия, над смыслом вероятности, над принципом запрета. То и дело нас подстерегают неожиданности, вдруг возникает проблема понять, что означает само слово понимание. Необходимо создать философию квантов. Принцип дополнительности – когда надо было уразуметь двойственность электрона, представляющего из себя одновременно частицу и волну. Немудрено, что и автор затрагивает, исследует философские проблемы, роящиеся вокруг этой революции в физике, вокруг квантовой теории. Разворачивается волнующая картина прорыва с вековой философией природы, извечным детерминизмом, с причинностью, причем с причинностью однозначной. Нелегко объяснить, как отыскивались причины «беспричинности». Так, чтобы были доступны и интересны эти высокие достижения теоретической физики; суть споров между такими гигантами, как Эйнштейн и Бор. Объяснить это может хороший популяризатор (дар тоже драгоценный!). Данин же увлекает нас не только формой, а и природой этих разногласий и борьбой умов. На протяжении повествования даже не сведущий в физике читатель начинает ощущать себя полноправным участником событий. Такова история единоборства с Эйнштейном, которая происходила на пятом конгрессе Столевея. Мы видим разницу способа оценки основных физических законов Эйнштейном и Бором и то, как они спорили, какие аргументы приводили. Великие умы, великие

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru характеры, великие души стояли за этим. «Я не верю, что Господь Бог играет в кости», – утверждал Эйнштейн, считая, что природа не прибегает к помощи случая и что квантовая механика не то, ибо опирается на соотношение неопределенностей. Какое же философское возражение находит Бор? «Не наша печаль приписывать Господу Богу, как ему следует управлять этим миром».

Происходила, как говорил Бор, решительная ломка понятий, лежавших до сих пор в основе описания природы. Немудрено, что книгу читать нелегко. Но это не трудность зарослей, а трудность подъема. Книгу такую читаешь долго, так, что начинаешь с ней жить, есть такие книги – для дальней дороги, для одиночества. Она требует проникновения. Недаром книга эта – плод многолетней работы.

Интересно, что Бор не другим, а себе, как пишет Данин, препоручил создание философии квантов. «И не потому, что в других верил меньше, чем в себя. Просто он не мог жить, не понимая. Отказ от собственных попыток понять грозил бы ему душевным разладом». Вот характерное объяснение чисто внутренних психологических мотивов и состояния Бора. Объяснение, которое помогает нам проникнуть в сокровенную душевную потребность Бора – понять!.. Объяснение психологически достоверное, почти как вывод. Такие психологические открытия и находки в книге соединяются одно с другим, составляя цельное жизнеописание, историю ума и души, а не просто хронологически нанизывая рассказы об известных случаях. История открытия и становления квантовой механики сочетается с историей ее творца, и мы уже не сетуем на бедность жизненных приключений, жизнь Бора оказывается насыщенной действием, пусть внутренним, она становится напряженно-событийна, не важно, что это события духовной жизни, в них вся полнота переживаний, чувств, связанных с поиском, с борьбой.

Становление боровского миропонимания предстает не просто страницей истории физики. Мы видим методы и способы добычи знания, которые и составляют науку, может быть, самое ценное в ней.

Человеческим достижением Бора была созданная им школа физиков. Далекое не каждый великий ученый мог создать свою школу. Есть характеры, не способные на это, таков, например, Эйнштейн. У Эйнштейна не было учеников. У Бора было много учеников, но немногие из них создали свои школы. Ученики выросли в Копенгагене, в боровской школе, и тем не менее не сумели последовать примеру своего учителя. Как учитель Бор обладал исключительной притягательностью для молодых физиков. Почему? Привлекал он сам как человек, привлекали принципы, на которых он объединял вокруг себя талантливейших физиков-теоретиков мира. В его школе не было старших и младших, Бора называли на «ты», этим подчеркивалось равноправие. Бор сам, не считаясь ни с чем, приходил к младшему своему сотруднику Гейзенбергу, когда ему нужно было обсудить проблему. Примечательна история взаимоотношений Бора с каждым из учеников, хотя бы с тем же Вернером Гейзенбергом. Это был, может быть, один из самых великих его учеников. Тяжелое испытание для их взаимоотношений началось с приходом Гитлера к власти. Возникла сложность, которая нарастала и привела к трагическим расхождениям между ними с первого года Второй мировой войны. Гейзенберг приехал из Германии в Копенгаген, чтобы поговорить с Бором. О чем они говорили – неизвестно. Версия, предложенная в книге, не единственная. Выглядит она убедительно, так же как убедительно выстраивает автор всю логику поведения Гейзенберга в годы войны. Хотя опять-таки, на мой взгляд, существуют и другие, может быть, более жесткие оценки поведения Гейзенберга, который стал нацистом в эти годы и, более того, руководил созданием атомной бомбы для гитлеровской Германии. Были моменты, когда Гейзенберг открыто сотрудничал с гитлеровскими властями во имя Германии, во имя немецкой физики. Но, повторяю, тот характер Гейзенберга, который создан в книге, вполне историчен и возможен.

Начиная с 1920-х годов, один за другим к Бору приходят молодые физики, сотрудничают, спорят с ним. Такие, как Вольфганг Паули, Отто Фриш, Хевеши, Костер, Лев Ландау, Крамере, Оскар Клейн... Каждый стремился к Бору по-своему, и одна за другой разворачиваются научные индивидуальности плеяды замечательных ученых нашего века. Естественно и деликатно проходил процесс формирования этого редкостного большого содружества талантов. Чисто человеческий материал потребовал от Д. Данина художественных средств воплощения. Известные нам ученые изображены во всей плоти, в своеобразии характеров, собственного стиля мышления, со своей научной физиономией. Физические школы такого масштаба – редкость. История

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru русской физики знает школы, созданные Петром Николаевичем Лебедевым, и в советское время – Абрамом Федоровичем Иоффе, Петром Леонидовичем Капицей. Правда, это школы экспериментаторов. Важна не только история возникновения школы – важны ее традиции, ее порядки. Автор это сумел показать без поучений, но сравнение и мысли приходят тут сами по себе. Как приятно умение Бора быть не авторитетом. Признавать свои ошибки. Видеть недостаточность своих аргументов. Прекрасен дух полного доверия, товарищества, отсутствие всякой косности, дух высочайшего, абсолютного интернационализма. В школу Бора приезжали отовсюду. И не было никакой разницы ни для Бора, ни для других – русский, венгр, немец, американец, индус. Все находили у Бора уют, внимание – требовался лишь талант и преданное служение истине.

Все это достаточно само по себе для интересного рассказа. Однако постепенно выясняется, что наш интерес держится не на истории физики и не на истории работы ума, нас все сильнее притягивает нравственная значимость фигуры Нильса Бора.

Большие исторические события неумолимо входили в его жизнь – Первая мировая война, Вторая мировая война, оккупация, фашизм. Начиная с 1941 года, спокойная кабинетная работа ученого кончается. Судьба как бы наверстывает... Побег, опасности, приключения. Нильс Бор становится активным участником крупнейших событий. Но среди этих приключений мы уже заняты другим, мы следим, как умеет он в самых сложных условиях оставаться примером высочайшей нравственности. Ему приходится решать трудные нравственные проблемы и в отношениях с людьми, да и для себя лично. С какой настойчивостью он добивается встречи с Рузвельтом, с Черчиллем, для того чтобы разъяснить им опасность атомного шантажа. По сути, он был первый, кто оценил зло и безнравственность атомной бомбы. Еще в ту пору, когда война не кончилась и американские физики гордились своей работой, он понял всю бесчеловечность нового оружия.

С ним бывало всякое, не миновали его личные трагедии – смерть близких, он не всегда был безупречен, он ошибался в людях, из-за его ошибок страдали другие. Но в любых случаях он оставался верен благородству и честности. Он отдавал призы и деньги своему институту. Он заботился о других, насколько ему хватало времени и сил.

Впрочем, не стоит тут повторять и воссоздавать ту целительную нравственную атмосферу, которая сопутствовала этому человеку до конца его дней. Хочу лишь сказать, что именно эта чисто человеческая и такая дорогая нам всем сторона его деятельности наполняет особым светом всю книгу. Нельзя не упомянуть здесь той счастливой семейной жизни, полной добра и взаимоуважения, которая царил в доме у Боров. Великие люди бывают действительно великими и в этом личном, даже интимном, и это создает редкое удовольствие гармонии.

1988

Один из рассказов Бунина

Необычен, никак не похож на Бунина его рассказ «Ночь». На рассказ этот обратил мое внимание Михаил Дудин. Рассказ переполнен размышлениями не бунински философскими. Не бунинский он и отсутствием какого-либо сюжета, никого там нет, кроме автора и Вселенной. Это скорее лирическое откровение, внезапная запись, которая осеняет, как стих. Так по первому чтению. Но все же это рассказ. Потом оказывается, что есть там и сюжет. Изменяется состояние автора, после всех своих раздумий бегущего все же к морю, отвергающего свои недавние умствования, то есть не-Бунин возвращается к привычному Бунину. И хотя это неубедительное успокоение чуть навязано, все же рассказ поражает. Небунинское в нем режет уже не слух, а ум с непонятной силой. Бунин, виртуоз деталей, запахов, цвета, настроения, вдруг извлекает из всего этого острую мысль. Он – мыслитель! И не простой. Не эпигон.

«Только человек дивится своему собственному существованию, думает о нем» – вроде бы банально? Но читайте дальше, следующую фразу: «Это его главное отличие от прочих существ, которые еще в раю, в недумании о себе».

Существа – цикады, мириады ночных цикад, ведущих свою любовную песню. «Они в раю, в блаженном сне жизни, а я уже проснулся и бодрствую. Мир в них, и они в

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
нем, а я уже как бы со стороны гляжу на него».

Поразительна мысль о рае, о существовании рая и человеческого бытия. Человек изгнан был из рая, но рай не обезлюдил, рай остался вокруг человека, рядом, в животных, и травах, и рыбах, и лесах. Как это просто и очевидно. Но где-то там, на небе, райские кущи и сады Эдема, а если жить по-муравьиному, по-дельфиньи, то рай обнаруживается на этой самой грешной земле. Когда-то, читая, кажется, Шепли «Звезды и люди», я поразился замечанию автора, известного американского астронома, что муравьи мудрее человека, они отказались от эволюции.

Земля не может быть грешной, ничем не провинилась, и все живое на ней так же: она прекрасна, она нравственна, она была создана как рай. Чем отличается жизнь муравья в раю от жизни земного муравья – да ничем. И не должна отличаться.

Рассказ «Ночь» – исповедь мыслящего писателя, который боится мыслить, боится, что мысль убьет в нем писателя, страшится дать волю мысли. Главный же нерв рассказа – это ощущение времени, удивление перед проявлением в себе прошлых времен, ощущение связи с минувшим. То растянутое на годы чувство «Я», которое иногда просыпается в человеке, – «Я» прошлого года и «Я» десятилетнего мальчика, – чувство самости (не очень красивое слово, но другого нет), которое Бунин сумел ухватить, вернее, успел ухватить, записать.

Он пишет про цепь времен, про сладкое чувство единства со всеми живущими на земле и понимает слезы апостола Петра. И далее, что примечательно, описывает переживания Петра в то далекое евангельское утро: «И почти те же самые чувства, что наполнили когда-то Петра в Гефсимании, наполняют сейчас меня, вызывая и на мои глаза те же самые слезы, которыми так сладко и больно заплакал Петр у костра».

Так ведь это же чеховский «Студент»! Все как в «Студенте»! А ведь Бунин знал и помнил этот рассказ, так что не случайно он обратился именно к Петру, и те же у него слезы, как у тех чеховских баб у костра, словно бы то же самое произошло, повторилось сейчас с ним. И хотя про Чехова он тут не упоминает, все же совпадение не могло быть случайным, несознательным. Рассказ «Студент» был его любимейшим чеховским рассказом, об этом пишет сам Бунин в воспоминаниях о Чехове. И все же если не случайно это совпадение, то тем более есть странность в таком повторе.

Сравнивать эти рассказы невозможно. Не могу также представить, чтобы Бунин вздумал соперничать с Чеховым, это исключено. Они писали в непересекающихся плоскостях. Дата создания для искусства не имеет значения. Это в технике изобретение радио отменяет работы второго и третьего изобретающих. Поэтому столько тягостных споров идет вокруг приоритетов. Хотя радиослушателю проблема первенства глубоко безразлична. В искусстве тем более. Год, проставленный под рассказом, интересен литературоведам. Великих изображений Мадонны существует по меньшей мере несколько десятков. Так же как «Данай», «Магдалин», «Снятый с креста», «Поклонений волхвов». Они никогда не мешали друг другу и не конкурировали.

Ощущение пошлости возникает не из повторения, а скорее из присвоения. Давно известное чужое выдается за свое, которое преподносится тут же во всей своей мелкоте и безвкусице. Впрочем, не обязательно знать историю искусств, чтобы поймать пошлость. У нее свой запах. Чехов один из редких писателей, начисто лишенных пошлости. У него есть неостроумные шутки, неудачные выражения, есть глупости, банальности, но нет пошлости. Ни в изображении, ни в размышлениях. Его размышления не явны, запрятанны, но когда доберешься до них, испытываешь сильное и долгое чувство.

Знаменательно, что единственный, на мой взгляд, такого рода «размышляющий» рассказ Бунина связан с Чеховым, с чеховской мыслью. И не в упрек это Бунину, ни в коем случае, – рассказ Чехова «Студент» обладает такой волшебной емкостью, что вариаций на эту тему можно писать немало, и счастье, что так сильно, красиво откликнулся он в душе Бунина.

Зубр в холодильнике

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
С оказией передали мне довольно объемистый пакет из Германии от Клауса Хопке. Там были документы. Совершенно неизвестные мне. Копии докладов, записок, писем. Я читал их с изумлением. Даты стояли: 1987, 1988, 1989, годы вроде недавние, но это были уже древние документы из старой, почти средневековой жизни. Они были про роман «Зубр» и про меня. Понятия не имел, какая, оказывается, драматическая история разыгрывалась за кулисами, затрагивая одну инстанцию за другой, вплоть до Политбюро ГДР.

Гэдээровское издательство «Volk und Welt» выпустило книгу «Зубр» в 1987 году. Книгу сделали быстро, но в продажу она не поступила. Что-то произошло. Что именно, я не знал. Она вышла уже в Швеции, США, Польше, Японии, а в ГДР почему-то никак. И вот теперь, спустя шесть лет, полученные документы рассказали мне, что творилось вокруг этой книги. Я вспомнил, как Клаус Хопке, с которым у меня дружеские отношения, уклонялся тогда от прямого ответа: «Знаешь, есть некоторые сложности». Хопке был заместителем министра культуры, ведал всеми издательствами ГДР, и я не очень понимал, какие у него могут быть сложности. Я пребывал во хмелю первых лет перестройки, переживал освобождение, избавление от цензуры, воздух ГДР казался душным, здесь запретили наш фильм «Покаяние», запрещали советские журналы, «закручивали гайки».

Первый документ в пакете помечен 2 июня 1988 года, последний – октябрём 1989-го, то есть полтора года шла возня вокруг романа.

Этот первый документ – отчет нашего КГБ для ЦК СЕПГ. Оказывается, по просьбе ЦК СЕПГ в Германию был послан помощник руководителя исследовательского отдела КГБ из Москвы. В течение трех недель он собирал и проверял материалы о Тимофееве-Ресовском «в связи с книгой Д. Гранина „Зубр“». Отчет его был представлен ЦК СЕПГ.

Поначалу КГБ сообщает, что еще в гитлеровские времена Н. В. Тимофеева-Ресовского проверяли Немецкий союз доцентов, Имперский союз науки. Всякий раз организации Третьего рейха убеждались, что Тимофеев – выдающийся ученый, «серьезный и отзывчивый человек и только ученый». Далее привожу выдержки из справки КГБ:

«Несмотря на приход гитлеровцев к власти, Тимофеев-Ресовский имел возможность продолжать свои работы и достиг мирового авторитета, его доклады и публикации были признаны во всем мире. Переписка с другими зарубежными учеными показывает, что Тимофеев-Ресовский мог участвовать в различных конгрессах и публиковаться, живя в гитлеровской Германии.. Работы Тимофеева-Ресовского по биофизике использовались другими учеными, в частности немецкими, и ему до 1945 года оказывалась поддержка, несмотря на тяжелое материальное положение.. Не удалось найти никаких других документов и данных, которые бы доказывали, что результаты исследований отдела генетики и научные труды самого Тимофеева-Ресовского могли бы быть использованы для военных преступлений против человечества».

Далее в докладе приводится любопытная подробность, распоряжением Гитлера от 19 июня 1944 года полагалось поощрять только такие исследования, «которые принесут важные преимущества». Работы Тимофеева-Ресовского к таким не относились. Удалось найти все его научные статьи. Из них видно, что до 1945 года Николай Владимирович широко признан и уважаем и после того, как гестапо арестовало его сына. Казалось бы, ясно; тем не менее после всего этого работник КГБ делает вывод: «Однако еще невозможно, еще рано [Подчеркнуто мною. – Д. Г.] объективно оценить, правильно ли изображен в книге Гранина его герой, действительно ли он был антифашистом». «Решение о публикации книги в ГДР можно принять, когда Тимофеев-Ресовский будет в Советском Союзе реабилитирован».

Сделав такое заключение, само КГБ стало всячески препятствовать его реабилитации. Имея все доказательства, что ученый не был вовлечен в работы на войну, всякий раз в реабилитации отказывали, утверждая, что Тимофеев помогал гитлеровцам, «не может быть, чтобы не участвовал в работах на войну». Хочу заметить – сам Тимофеев при жизни не желал подавать просьбу о реабилитации. Он говорил: «Кого я должен просить? Их я не хочу ни о чем просить». Думаю, он был прав, его нереабилитация значила больше, чем его реабилитация.

Из последующих документов видно, что КГБ знал немало фактов об антифашистских действиях Тимофеева. Знал, да скрывал. И в докладе эти данные приводятся, но, когда их запрашивали, КГБ отказывался сообщить эти факты. В докладе, кстати говоря, подтверждается, что Тимофеев спасал в своей лаборатории русских,

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
французов, которые были военнопленными и остарбайтерами, но доклад был закрытый и вывод категорический – «не публиковать».

Через несколько дней издательство «Volk und Welt», продолжая свою борьбу за книгу, направляет в ЦК две рецензии специалистов по советской литературе. Обе положительные. Рецензии мешают окончательно запретить книгу, поэтому так называемое «Бюро Курта Хагера», члена Политбюро, руководителя восточногерманской идеологии, решило противопоставить рецензиям мнение авторитетного ученого Роберта Ромпе, который хорошо знал Тимофеева. Известный физик, Ромпе имел еще в тридцатые годы совместные работы с Тимофеевым, к тому же он был член ЦК СЕПГ.

Собирая материалы, я несколько раз виделся с Ромпе, и всегда разговор оканчивался ничем. Он упорно избегал сообщать что-либо о Тимофееве, как тот приютил его в своей лаборатории во время штурма Берлина, прихода Красной Армии, ссылаясь на то, что еще рано, что не имеет права рассказывать.

Что же написал Ромпе в ЦК о своем друге и моей книге? Какое он дал заключение?

Прежде всего он убежден, что книга Гранина снижает авторитет советской науки не только в биологии. Надо ли широкому немецкому читателю знать про лысенковщину и о том, что кибернетика в Советском Союзе была объявлена буржуазной наукой? Да, действительно, Тимофеев во время крушения рейха приютил у себя в Бухе Ромпе с его физической лабораторией и некоторых других – Карла Ломана (химическая лаборатория), Михеля Шона (Институт твердого тела), и все же он, Ромпе, руководствуется принципами. Интересы ГДР превыше всего!

«Книга Гранина содержит много ценной информации, но для кого, для чего?» И уверенно отвечает: «Мы в ГДР зависим от кооперации с Советским Союзом... возникает вопрос, помогает ли книга Гранина нашей кооперации? Я бы сказал – нет... Для нас в нашей напряженной ситуации действует правило: кто хочет хорошо вести машину, не должен часто заглядывать в зеркало заднего вида».

То есть зачем обращаться к прошлому, к старой дружбе с человеком, который в Советском Союзе имеет сомнительную политическую репутацию?! Ромпе подкрепляет свои слова примером:

«В случае, когда надо было отмечать юбилей Н. И. Вавилова, мы ждали, что скажет в своей речи президент Академии наук Марчук, и только после того как прочли его речь в „Правде“, наш журнал „Наука и прогресс“ опубликовал статью Штуббе о Вавиллове».

Вот пример, достойный подражания! И с этой книгой о Тимофееве так же следует поступить, подождать, пока не произойдет реабилитация, затем торжественный юбилей и чтобы в «Правде» появился отчет. Пока что Тимофеев числится в репрессированных, и давайте воздержимся.

Ромпе не смеет отрицать, что Тимофеев-Ресовский был «великим биологом», но тут же оговаривается, что как физик не может судить о биологических науках. Хотя снова оставляет себе лазейку: «Я присоединяюсь к отзыву Штуббе и знаю, что Гейзенберг и Бутенат высоко ценили Тимофеева-Ресовского, даже почитали».

Итак, книгу лучше не издавать, о Н. В. Тимофееве-Ресовском не вспоминать еще лет двадцать-тридцать. Таков вывод Р. Ромпе. Это как раз то, что надо было от него ЦК и Курту Хагеру – товарищ Ромпе знает, что от него ждут. Мудра поговорка: не вспоя, не вскормя, ворога не увидишь.

Я встречал многих людей, обязанных Тимофееву-Ресовскому научными идеями, совместной работой, а то и жизнью. Роберт Ромпе единственный из них, кто проявил себя столь неблагодарно. На него, очевидно, повлияли те ожесточенные нападки на книгу, которые были в советской печати, обязывало его, как видно, и членство в ЦК. Любопытный казус – высокое партийное положение не увеличивало свободу, а ограничивало ее.

То, что герой книги Тимофеев-Ресовский мог в гитлеровской Германии остаться независимым, продолжать свою науку, сохранять честность, – это было выше понимания критиков журналов типа «Наш современник». Такую ситуацию они воспринимали как личное оскорбление. Их устраивал лишь советский тип сознания. Тот, кто отказался вернуться в Союз, будь это даже в 1937 году, – предатель. Те,

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru кто остался на оккупированных территориях, – пособники оккупантов. Те русские, кто был в Германии при фашизме, – сами фашисты, работали на фашистов. Этот тип прямолинейного мышления был свойствен и немецким коммунистам, которые ратовали за запрет книги.

Прошло еще четыре месяца. Лео Кошут, главный редактор издательства, не оставлял своих стараний, пытался пробить разрешение на выпуск книги в продажу. Клаус Хопке, не согласный с мораторием, пишет новое письмо Курту Хагеру и прилагает вырезку из «Литературной газеты», где напечатано открытое письмо советских ученых, опровергающих малограмотные рассуждения В. Бондаренко о Тимофееве-Ресовском.

Следующий документ – 20 декабря 1988 года руководитель Общества германо-советской дружбы, член Политбюро, секретарь ЦК Э. Мюккенбергер сигнализирует тому же, все еще пребывающему в нерешительности Курту Хагеру:

«У нас в Обществе германо-советской дружбы уже несколько месяцев назад Рагвиц обращал внимание, стоит ли издавать книгу Гранина „Зубр“. Несмотря на все сомнения, у некоторых людишек есть все же намерение это сделать. Так, в журнале „Искусство и литература“ публикуются две статьи о романе – И. Грековой и Е. Сидорова. Я хочу обратить твое внимание на это, ибо предполагаю, что хотят создать предпосылки для публикации книги.

С социалистическим приветом Э. М.».

ГДР переживала тяжелейший кризис, нарастали драматические события, вставал вопрос о существовании республики. А члены Политбюро переписывались по поводу этой книги, отдел культуры ЦК учил, докладывал, доносил, шли совещания, телефонные переговоры. В документах передо мной были лишь следы той работы и споров, которые кипели в кабинетах.

Людишки – для секретаря ЦК всякие редакторы, журналисты, издатели, интеллектуалы, те, что смеют трепыхаться, иметь собственное мнение. Я полагал, что это для наших вождей человек – «винтик», а оказывается, и в Германии, со всеми ее демократическими традициями, у коммунистических боссов было то же самое отношение к рядовым членам партии – людишки.

Заведующая отделом культуры ЦК жалуется своему начальнику Курту Хагеру на министерство культуры (то есть на Клауса Хопке), которое продолжает хранить 15 тысяч переплетенных экземпляров крамольной книги! В ответ неугомонный Клаус Хопке шлет Курту Хагеру два письма в дополнение к прежним материалам: «Они сообщают факты, помогающие решить вопрос о книге».

Шел февраль 1989 года, но до решения еще было далеко.

Документы «за» и «против» чередовались, отражая усилия и с той и с другой стороны. К тому же Курту Хагеру адресует письмо некий Штранд из Бернау, яростный блюститель партийной идейности.

«Несмотря на то, что я неоднократно писал в отдел культуры ЦК по поводу предполагаемого издания романа Гранина „Зубр“ издательством „Volk und Welt“, я до сих пор, если не принимать во внимание отписки, не получил ответа по поводу моих сомнений. Правда, книга не вышла в конце 1987 года, как предполагалось, но должна, это я узнал стороной, выйти в середине этого года. Я хочу обратить внимание ЦК на то, что эта книга искажает факты... Авторитету ГДР будет оказана плохая услуга, если наши „деятели культуры“ попадутся на удочку. Я думаю, что у многих советских писателей есть достаточно причин быть осторожными в отношении коллаборационистов и невозвращенцев и не оправдывать их.

4.03.89. С комприветом Е. Штранд».

За книгу вступает писатель, сценарист Вольфганг Кольхазе. Он направляет большое письмо тому же К. Хагеру. Книга становится объектом сражения демократов и догматиков. Партия мобилизует своих «автоматчиков». В журнале «Конкрет» (1988) появляется статья О. Тольмейна. Автор обрушился на роман, повторяя советских обскурантов: «Национал-социализм у Гранина выступает как менее ужасный вариант тоталитарного режима, чем сталинизм». Старательно развивает он тезис, выдвинутый Э. Хонеккером. Сама мысль о том, что можно сравнивать оба режима, кажется

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
кошунственной. Он вскрывает умысел автора – противопоставить свободу, которую дали Тимофееву-Ресовскому в Германии, советской жизни. Никого из критиков, защищавших «Зубра», не удивляют неограниченные возможности, предоставленные Тимофееву-Ресовскому в гитлеровской Германии.

Оба тоталитарных режима были бесчеловечны и отвратительны. Нельзя сравнивать их по количеству жертв. Арифметика становится безнравственной, когда мы считаем, где больше погибло. Моя книга – рассказ всего лишь об одной судьбе. В статье цитируется Раиса Орлова: «Тимофеев – величайшая личность XX столетия, человек, который пережил оба тоталитарных режима». Через его жизнь и возникает возможность сравнения, которое кажется таким ужасным, кошунственным всем ревнителям коммунизма. Никто нигде не мог привести данные о том, что Н. В. Тимофеев-Ресовский выполнял какие-либо конкретные задания нацистов, у него нет ни работ, ни отчетов, связанных с расовой теорией или военной тематикой. После публикации книги, после всех дискуссий в 1991 году мне стала известна в подробностях следующая история.

В 1943 году из Далема в Бух приехал известный гистолог В. Халерфарден. Он обратился к Тимофееву-Ресовскому, предлагая руководить исследованиями некоторых генетических проблем на человеческом материале, на цыганах. В этом случае можно будет облегчить участь сына, недавно арестованного гестапо. Тимофеев-Ресовский сутки обдумывал предложение. Он не нашел в себе силы сразу отказаться. Понимал, что, отказывая, рискует жизнью Фомы. Так оно и случилось. Много лет спустя Елена Александровна Тимофеева-Ресовская рассказала об этом своей подруге Кузнецовой. До конца жизни оба, отец и мать, мучили себя за принятое решение. В каком-то смысле они считали, могли считать себя виновными в гибели сына.

История эта дошла до меня уже после их смерти, сравнительно недавно. Тема Фомы в доме Тимофеевых-Ресовских была как бы запретной, во всяком случае нежелательной. Ее упорно избегали. Теперь многое стало понятней. Хотя далеко не все. До сих пор не могу представить себе, каким образом Николай Владимирович принял такое решение. Но не могу вообразить и иного. Оба решения безвыходные. Это ситуация библейская, шекспировская, трагическая в любом направлении. Великому человеку достаются и великие испытания.

Публикация романа в Германии приносила к моему берегу новые факты, сообщения. Замечательный немецкий физик Риль подтвердил невозможность для Тимофеева-Ресовского никаких работ на потребу нацистов, исключал начисто его участие в атомном проекте немцев. Последние годы Риль и Тимофеев-Ресовский были связаны совместной работой. В конце 1992 года в журнале «Nature» («Природа») появилась большая статья-исследование, которая окончательно подтверждает непричастность Тимофеева-Ресовского к каким-либо работам на войну, на расистские темы. Историкам не удалось найти никаких фактов, свидетельств, ничего такого, что можно было бы поставить в вину русскому генетику.

«Зубр» вышел в Западной Германии (под названием «Генетик»), его читали и восточные немцы, а в ГДР «Бюро Хагера» расследовало, каким образом один экземпляр книги обнаружен был у кого-то на руках. Поднялась паника, словно бацилла чумы вырвалась из лабораторной бутылки. Несмотря ни на что, книга вышла и в ГДР, еще успела выйти, пока стена была цела, пока ЦК работал и ревнители сидели в своих кабинетах.

Странно, но я вспоминаю о тех временах со смешанным чувством. Есть что-то славное в том минувшем, увы, безвозвратно ушедшем. Такого уже не будет – чтобы нас, писателей, так боялись. Ныне уже не то. Ныне, что бы я ни писал, какую бы сатиру или контру, как бы ни уязвил основы, такого переполоха не вызвать. С ностальгическим чувством я перебирал документы, присланные Клаусом Хопке, складывал их в папку, прощаясь с ними и со всем серебряным (или железным) веком могущества литературы, и кино, и живописи, и музыки, когда нас боялись, собирали совещания, принимали постановления ЦК. Никогда не будут уже из-за наших книг давать выговоры, вызывать издателей, переписываться с министрами, советоваться с КГБ. И мы не сможем более проявлять стойкость и чувствовать себя героями. Грустно. То правительство и та партия – ах, как уж мы приспособились друг к другу в своей нелюбви! Никто не будет теперь испытывать к нам такой горячей неприязни. У них было занятие – они запрещали, охраняли, изымали, увещевали.

Нынешним властям мы не нужны. Никто не выискивает в моих книгах крамольных фраз, не сообщает о них куда следует. Боюсь, что власти вообще перестали читать.

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Похоже, мы стали безопасны, бессильны и должны заняться всего лишь... литературой.

P.S. Рассказанная Д. Граниным история (мы публикуем не все – часть ее) напомнила мне о редакционной «зубровской» папке. Повесть эта, как и почти одновременно увидевшие свет дудинцевские «Белые одежды», вышедшие из подполья рыбаковские «Дети Арбата», вещи Бека, Гроссмана, Домбровского, Приставкина, Тендрякова, естественно, получила огромный резонанс. Но читательская почта «Зубра» имела свою особенность. Если там были отклики восторженные и ругательные, отражающие ситуацию в стране, то тут, поверх этого, – битва за честь, за доброе имя ученого, за правду о нем. Взрыв и в научном мире, и в широкой читательской аудитории вызвала «антизубровская» статья В. Бондаренко «Очерки литературных нравов» в «Москве». И хотя «ЛГ» тут же опубликовала письмо «Необоснованные обвинения» ученых В. Струнникова, А. Яблокова, В. Иванова, кампания не затихла. И вот уже в «Нашем современнике» появилась публикация «Кто вы, доктор Тимофеев-Ресовский?» Д. Ильина и генерал-майора юстиции, старшего помощника главного военного прокурора В. Провоторова, основанная на материалах десяти томов «официального, объективного расследования» по делу генетика.

И – новый взрыв возмущения научной, литературной общественности этой клеветой. В редакционной архивной папке – стенограмма проведенного в «ЛГ» круглого стола (все, разумеется, не вошло в отчет), расшифровки наших бесед с Е. Саканян, режиссером ныне известных, а тогда еще только воплощавшихся фильмов «Рядом с Зубром» и «Охота на Зубра», – это ее киногруппа была зачинщиком обращения в Верховный суд о реабилитации Ресовского. И тут же прямо противоположное – публичная лекция профессора Г. Середы, одного из главных наветчиков, поставщика ложной информации о Тимофееве, и запись разговора с ним в «ЛГ». Тут и копии писем в Главную военную прокуратуру учеников, коллег, последователей Зубра, тех, кто знал, видел в Берлине его и старшего сына Дмитрия – Фому. Копии «литгазетовского» обращения к тогдашнему Генеральному прокурору СССР А. Сухареву. Присланный из Ленинграда профессором В. Кирпичниковым оригинал ответа ему: «Разъясняю Вам, что оснований для постановки вопроса об отмене состоявшегося по делу судебного решения в отношении профессора Тимофеева-Ресовского Н. В. [Ресовского – так напечатано в оригинале. – Прим. ред.] не имеется. Зам. начальника отдела управления ГВП В. Кондратов». И еще множество самых разных документов, проливающих, как говорится, свет на судьбу ученого, вызванного гранинской повестью из небытия. Последней документального произведения, оказавшееся непредсказуемо бурным, свидетельствовало: система не пала, лишь укрылась за демократической ширмой...

Теперь лента нашего прошлого прокручивается наконец с проясненными, атрибуцированными кадрами. И всякий раз, ужасаясь, возмущаясь открывшимся, поражаешься снова и снова: кагэбэшные щупальца системы прощупали (щупают?) буквально все (все!) сферы, стороны бытия. Уже пора вроде бы привыкнуть и к тому, что щупальца эти хватали не только живых, но и мертвых. И шла слежка за неудобной книгой, за прототипом ее неподатливого строптивого героя. Вспомним, что с опального Пастернака тоже после его кончины глаз не спускали, устроили у могилы ловушку для слишком разговорчивых, вмонтировав в скамейку записывающий аппарат. Механический стукач – эта запредельность была нашей реальностью (была – хорошо, если глагол можно употребить только в прошедшем времени)...

Получив от Д. Гранина материал, я позвонила Н. Воронцову – председателю комиссии по научному наследию Зубра. «Буду ждать „Литгазету“, – сказал он и сообщил: – В набор ушла рукопись „Тимофеев-Ресовский. Воспоминания, документы“, издательство „Наука“».

1993

Портреты героев

В дискуссиях о связях искусств, о воссоздании образов какого-либо искусства другими художественными средствами вопрос об иллюстрировании литературных произведений кажется бесспорным. Но так ли это?..

На книжной ярмарке в Мадриде мы провели целый день. Мы ходили от павильона к павильону и разглядывали книги. Каждый павильон выставлял свое – либо свое

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru издательство, либо свою книготорговую фирму. Книги были всех направлений: книги марксистские, клерикальные, художественные, книги школьные, дошкольные, музыкальные... Чего только не было представлено в каждом павильоне: издания дешевые, карманные, издания библиотечные, издания роскошные. Одна Библия фигурировала от самого миниатюрного, карманного вида до изданий в переплетах белой кожи с великолепными, специально выполненными на пергаменте иллюстрациями. Томы; весом полпуда, украшенные бронзой, серебром. Подобных дорогих изданий Библии было около десяти, одно другого красивей. А павильонов было около двухсот. Я говорю «около», потому что все посетить мы не смогли: сил не хватило, при всей нашей любви к книгам, и смотреть больше не хотелось. От книг тоже устаешь. Теперь-то я жалею, что недосмотрел, недолюбовался, недолистал, а тогда мы повалились в кресла возле нашего павильона, гостями которого мы были, не желая больше ни ходить, ни смотреть, и переговаривались, проглядывая текущую мимо ярмарочную толпу.

Со всех сторон нас окружали красочные, яркие, блестящие обложки бестселлеров.

физиономии героев, точные, как фотопортрет, или смутные, еле различимые, какие-то фигуры – стреляющие, убегающие, молящиеся.

Я смотрел на них и думал о том, какие силы тратятся на книжные иллюстрации и что иллюстрация существует лишь для данного издания и в данном издании, а не вне его. В разных изданиях Шекспира картинки разные, все Гамлеты – разные, все Ромео – разные. Во всех испанских изданиях Чехова тоже разные картинки и нет ничего узнаваемого. То же самое происходило с героями Артура Хейли: картинки в испанских переводах были не похожи на французские. Затем я подумал о том, почему я никогда не мог узнать собственных героев на иллюстрациях к моим книгам, хотя обстановка действия, сами сценки изображались достаточно точно (иногда традиционно, иногда свежо). Своих героев я видел явственно и видел, что изображенное в иллюстрациях – не то. Тут уж я мог судить уверенно. Странная штука – это авторское видение. Представляешь персонаж во всех подробностях его фигуры, физиономии, игры лица, а подсказать художнику, что у него не так, – не можешь.

И здесь, на ярмарке, я смотрел картинки к «Трем мушкетерам» – поединки, миледи, Портос был толст, Арамис – тонок, все четверо с бородками, усиками, но на этом приметы исчерпывались, и в сущности каждый Д'Артаньян был другой. Я вспоминал рисунки к «Мертвым душам», к «Войне и миру», дивные врубелевские иллюстрации к «Демону» Лермонтова, чьи-то рисунки к Достоевскому, к Щедрину. Вспоминались удачные, талантливые, замечательные: Добужинского к Достоевскому, Бенуа к «Медному всаднику». Вспоминалась и безвестная иллюстрация к какому-то старому детскому изданию «Капитанской дочки»: крепостной вал, пушечка. Какой был из себя Швабрин, какой Гринев – ничего этого из нарисованного в памяти не задержалось, просто человеческие фигурки, а вот обстановка старенькой крепости помнится, и прочно. Как читаю «Капитанскую дочку», так и представляю Белогорская крепость по той картинке. Людей же: и Гринева, и Савельича, и Швабрина – вижу по Пушкину, то есть не внешним рисунком, а тем внутренним зрением, которое вызывает образ. И с героями других авторов примерно то же самое, то есть существует не изображение Раскольникова, а лестница, по которой идет фигурка человека, не Андрей Болконский, а картина Бородинского поля с фигуркой молодого офицера. Никто из художников не помог мне представить ни Андрея Болконского, ни Чичикова, и вроде бы я и не нуждался в помощи. Любимые и нелюбимые герои возникали в сознании настолько отчетливо, что я невольно отвергал их портреты, предлагаемые художниками. Я не мог припомнить ни одного изображения Гамлета, которое совпало бы с моим внутренним образом. Ни одной Анны Карениной, чей портрет, кстати говоря, так ясно описан Л. Толстым. Ни Тома Сойера, ни Василия Теркина. От сотен Гамлетов «отстоялся» разве что костюм. Однако стоило увидеть в кино либо в театре артиста, талантливо исполняющего эту роль, как происходило совпадение: облик актера «совмещался» с тем портретом Гамлета, который был перед моим внутренним взором, и я начинал видеть Гамлета с лицом этого актера, с его фигурой, с его жестами. Почему-то с книжными изображениями этого не происходило. Ни один из книжных портретов не становился Гамлетом, они лишь обозначали Гамлета. Ускользающее внешнее сходство не мешало до тех пор, пока оно не претендовало на портрет. Но как только видишь зримо, четко вырисованное лицо со всеми подробностями – с глазами, носом, волосами, – так это кажется непереносимо грубым, возникает недоумение, несогласие.

Есть, однако, несколько исключений, заслуживающих внимания и размышления.

В Испании я увидел Дон Кихота. Он был повсюду. Он был в каждом городе, куда бы мы ни приезжали. Магазины сувениров были переполнены разнообразными фигурками Дон Кихота. Металлические, в никелированно-сверкающих латах. Деревянные обожженные, деревянные отлакированные, окрашенные, неокрашенные, из разных пород дерева, маленькие и большие, от крохотных фигурочек до больших, по пояс. Имелись Дон Кихоты керамические, чугунного литья, костяные, Дон Кихоты на Росинанте и пешие, сидячие и стоячие, вместе с Санчо Пансой и без, Дон Кихоты с копьём, с мечом. Ими торговали в отелях, авиапортах, в лавчонках, в универмагах. Имелись изображения Дон Кихота на полотне, на металле, барельефные, гравюрные, вышитые на тканях, под старые гобелены, на меню ресторанов. В Толедо нас встречали толпы, эскадры Дон Кихотов. Лавочки не могли уместить в себе всего количества рыцарей печального образа, их выставляли на улицу, они стояли, раскаленные яростным солнцем, на крутых сонно млеющих улочках бывшей испанской столицы. В глубине лавочек хозяева чеканили изображения Дон Кихота, его силуэты, отделявали их серебром. Похожее творилось и в маленьких городках Авила, Аквила, и в песочно-желтой Саламанке, и в городках Валенсии – повсюду, во всей Испании, производился, воспроизводился, повторялся на коже и стекле, на дереве и камне, на эмали и кости один и тот же Дон Кихот, одна и та же узколицая, горбоносая физиономия с бородкой, с тонкой шеей. Повсюду он был узнаваем, у художников любых манер, у ремесленников достаточно умелых он сохранял свои черты, найденные когда-то Г. Доре. Это было его создание. Доре нашел этого Дон Кихота, и с тех пор поколения художников всех рангов, всех стран повторяли его, всегда по-своему, оставляя, однако, портретную основу. Как в тысячах портретов Данте или Льва Толстого остается их личная, реальная основа.

А надо сказать, что в современной Испании Дон Кихотом занимается, кормится им великое множество людей. По тамошним масштабам на этой продукции может существовать целый концерн с дочерними фирмами «Эль Греко» и «Гойя», которые производят репродукции, альбомы, монографии, слайды, открытки вышеназванных живописцев. Не говоря уж о трестах по изготовлению толедских мечей, шпаг и щитов, которых производится больше, чем в средние века. И тем не менее центром этой сувенирной индустрии, обеспечивающей десятки миллионов ежегодных туристов, остается Дон Кихот, изображение его, найденное Г. Доре. Именно конкретность, портретность позволяют умелому ремесленнику воспроизводить этот типаж, тиражировать его в любых вариантах. Трудно вообразить себе, что будет, если изъять Дон Кихота из быта современной Испании. Что останется, если удалить Дон Кихота, Эль Греко, Гойю, Веласкеса, то есть четыре-пять имен. С ними исчезнут их музеи, памятники, целые наборы обольщения и привлекательности, которыми блистает Испания. Разумеется, пойдут в ход другие имена, те, что сегодня как бы во второй шеренге, но вторые – они и есть вторые. Поучительно было бы подсчитать, какой доход приносят нации этот писатель и три художника. Кто другой так обогатил Испанию и так украсил ее истинной славой? Поэтому отчасти справедливо, когда на банкнотах, то есть на бумажных деньгах, фигурируют портреты Сервантеса, Де Фальи, Веласкеса...

Но тут же было бы правильно отдать должное и Г. Доре, без которого Дон Кихот не смог бы выйти из книги, появиться на прилавках и витринах, стать знакомым для всех людей, знакомым по своему обличью, потому что облик Дон Кихота в Испании знают все, даже те, кто никогда не читал Сервантеса.

Велика заслуга Доре. А сколько других героев остались невоплощенными, потому что не нашли своего художника! Не имеет же Англия мистера Пиквика, столь узнаваемого, или Робин Гуда, а во Франции нет столь безусловного, единственного Сирано де Бержерака, ни Растиньяка, ни героев Стендаля, Флобера, Мопассана, Доде. И у нас в России ни у одного из литературных героев нет такого очевидного всем, узнаваемого, неповторимого облика. А казалось бы, и по своей народности, и по остроте характера, и по типичности могли бы претендовать на это и герои Гоголя и Щедрина, и Остап Бендер, и Василий Теркин... да мало ли насчитывает их великая наша литература. Нет и в мировой литературе художественного облика Дон Жуана, Фауста, героев эпосов. Их существование бесплотное, они не облечены в графическую явь, незримы. Не то что Дон Кихот, который, обретя личину, отделился, получил как бы независимость, движется и высится в памятнике на мадридской площади, знакомый проходим больше, чем его автор.

Мне приходит в голову лишь один из литературных героев, имеющий столь же удачную судьбу. Это Швейк, храбрый солдат Швейк, изображенный чешским художником И. Ладой. Эта вислоносая, лукавая, опять же чрезвычайно характерная физиономия

Рассказы. Новеллы. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru плюс фигура появилась в Чехословакии во всевозможных репродукциях – заводными фигурками, тряпочными, стеклянными. Швейк изображается на салфетках, на пивных кружках, на календарях, на вывесках. Он царствует среди сувениров, он завсегда пивных, кабачков... Благодаря И. Ладе Швейк также получил автономию, обрел самостоятельную жизнь. Литературный образ его, найдя среди многих оболочек счастливое соответствие, наполняет ее новой энергичной жизнью. Из соединения талантов писателя и художника возникает зримая, предметная деятельность литературного героя. Мы ведь убеждены не в чем ином, как в сходстве нарисованного художником. Сходстве с кем? Наверное, с оригиналом, иначе с кем же? Швейк похож – на кого? Нет же никакого оригинала. И не было. Откуда же возникает это ощущение схожести? Непонятно и то, откуда возникает именно такая портретность героя. Счастлив писатель, которому «достанется» такой художник. Счастлив и художник, нашедший своего героя. Тут взаимно счастливая случайность, которая приводит ко второму, образительному, рождению персонажа. Я не касаюсь здесь истории работы над этими портретами, она тоже любопытна, я беру чистый результат. Можно приводить тут и другие примеры – удачные портреты Собакевича, Иудушки Головлева, Шерлока Холмса, и все же столь бесспорного, характерного облика-знака, такого распространенного опознания никто из них не получил.
1978

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!